ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА „КАТОРГА И ССЫЛКА“

В. И. КАРНАУХОВ-КРАУХОВ

„КРАСНЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ“



МОСКВА
1926


ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
-И-
ССЫЛЬНО-
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН
И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА „КАТОРГА и ССЫЛКА“

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ
И ДР. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОН-
НОГО ПРОШЛОГО РОССИИ

КНИГА XIV

МОСКВА

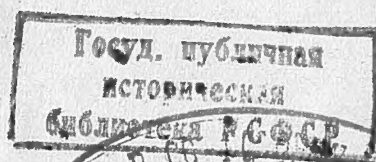
В. И. КАРНАУХОВ-КРАУХОВ

„КРАСНЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ“

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЛЕЙТЕНАНТЕ
П. П. ШМИДТЕ И ВОССТАНИИ КРЕЙСЕРА
1-го РАНГА „ОЧАКОВ“ В 1905 Г.

Редакция Н. Головиной.

1926





Москва. Главлит № 57.959. 4.000 экз.

„Мосполиграф". 16-я типография, Трехпрудный, 9.

Предисловие.

Предлагаемые читателю записки подшкипера 2 ст. Василия Ипатьевича Карнаухова-Краухова появляются в свет как-раз в год двадцатилетнего юбилея революции 1905 года и, в частности, восстания Черноморского флота, потемкинцев и очаковцев. Уже существует обильная литература об этих потрясающих событиях русской революции, и казалось бы лишним издавать воспоминания еще одного из их участников; мы имеем превосходно написанные воспоминания К. Фельдмана, Вороницына, Генкина, сестры П. П. Шмидта—А. Избаш и многих других, но все это или воспоминания партийных работников или воспоминания лиц, близких к П. П. Шмидту. О том, как стихийно подготовлялись революционные выступления в матросской массе, мы почти ничего не знаем; крупных организаций в массе тогда не существовало—только отдельные и немногие единицы входили в партийные организации. Откуда же явились то единство действий и тот глубокий революционный энтузиазм, которыми пропитаны были матросские массы? На эти вопросы дают безыскусственный и непосредственный ответ воспоминания Карнаухова: быт корабельной жизни, отношения к матросам командного состава, старых «батьков» и новых командиров—Чухниных и им подобных, всячески унижавших человеческое достоинство матроса; благородная личность П. П. Шмидта на этом черном фоне, «обожание», которое питали к нему матросы, и готовность итти за ним до конца,—все это ярко, хотя, может быть, и несколько неумело, выявлено в воспоминаниях.

Ценны эти воспоминания еще и потому, что Василий Ипатьевич был любимым учеником Петра Петровича Шмидта, первыми словами которого, когда он взошел на борт «Очакова» для принятия командования над взбунтовавшимся экипажем, было: «Ну, Вася, теперь мы будем действовать по заранее подготовленному плану!»; при чем он обнял и поцеловал Карнаухова. В обвинительной речи это послужило отягчающим вину обстоятельством.

Следует сказать несколько слов о том, кто такой Карнаухов. Автор—крестьянин Таврической губернии, хутора Атамань Днепровского уезда; он родился в 1881 году, кончил шкиперскую школу, из которой выпущен был подшкипером 2 ст., служил под начальством П. П. Шмидта в коммерческом флоте, под влияние которого и подпал, навсегда сохранив к нему чувство благоговения и глубокой преданности. В 1903 году Василия Ипатьевича забирают на военную службу в Черноморский флот и зачисляют в 32 фл. эк. Затем его переводят на крейсер «Очаков», где он и остается по день восстания в должности подшкипера; во время восстания В. И. исполняет обязанности ревизора «Очакова». В 1906 г., 7—18 февраля, В. И. судился в г. Очакове военно-морским судом вместе с лейтенантом П. П. Шмидтом и был приговорен к 20-ти годам каторжных работ. Отбывать каторгу он был отправлен в Александровский централ, а затем на Амурскую колесную дорогу, откуда и бежал; жил после этого некоторое время за границей—в Швейцарии; вернувшись в Россию на подпольную работу в партии с.-р., В. И. был вновь арестован в 1914 году; за побег срок каторги был увеличен на 6 лет; освобожден из Астраханской тюрьмы 3 марта 1917 года Великой русской революцией. На воле, уже больной туберкулезом легких, отбитых в тюрьме мешками с песком, Василий Ипатьевич пересматривает свое политическое мировоззрение, учитывая, что даже левое крыло партии с.-р. идет по ложной дороге, выходит в 1918 году из партии с.-р. Вскоре он избирается почетным моряком Черноморского флота республики и 19 января 1923 г. умирает от туберкулеза в Москве, в госпитале Штаба Р. К. К. А. Среди многочисленных венков, украсивших его могилу, выдается венок Об-ства политкаторжан—незабудки, ландыши, красная лента и... ржавые цепи—каторжные кандалы...

Н. Головина.

«Я знаю, что столб, у которого встану принять смерть мою, будет водружен на границе двух эпох нашей родины».

П. Шмидт.



Василий Ипатьевич Карнаухов-Краухов

На каторге

I.

В одном из грязных дешевых трактиров на Дерибасовской улице, наполненном табачным дымом и пропитанном винными парами, сидела небольшая компания штурманских учеников, ожидавших вакансии в практическое плавание на торговые пароходы.

По их внешнему виду нетрудно было заключить, что они долго ожидают вакансии и давно пропились в «лоскуты».... Все, что у них осталось, так это—только гардероб, состоящий из черных диагоналевых брюк и такого же мундира с светлыми пуговицами и старательно начищенными погонами, без которого они не могут попасть в практическое плавание (форма штурмана обязательна).

Вся эта скучающая компания сидела за стаканом пустого чая, измышляя способ, как бы достать на «полбанки». Все они были молодые, здоровые, хорошо сложены, с пробившимися только что усами.

В эти годы юноши мало думают о завтрашнем дне—разве только о том, как бы не попасть на глаза милой хозяйке, которая каждый день «травит» за квартиру и грозит выселением; все же остальные житейские неурядицы они оставляют за бортом...

В трактир, как стрела, влетел их товарищ, штурманский ученик—высокого роста, стройный.

Облокотившись обеими руками на стол, сверкая черными большими глазами, он быстро заговорил, вернее—закричал:

— Поздравьте!.. Поздравляйте!.. Я попал в практическое!..

— Как? Ты попал в практическое плавание?.. На какой?..— в один голос спросили все счастливчика.

— На «Игорь»,—гордо и заносчиво ответил юноша.

— Под команду лейтенанта?!—с завистью продолжали забрасывать его со всех сторон вопросами.

— Да, братва! Я попал под команду сказочного лейтенанта в практическое плавание,—гордо повторил юноша, затягиваясь папиросой...

— Садись да расскажи, как это тебе удалось. Нет ли там еще вакансии?

— Да что «травить» (рассказывать), — на «Игорь» вакансий больше нет!—категорически ответил счастливчик, смотря в сторону на кланявшихся ему, только что пришедших знакомых гризеток.

— Садись Солдатенок!—дергал его за рукав земляк,—чего стоишь?

«Солдатенком» звали нашего юношу; это нарицательное имя он получил после того, как рассказал своим друзьям комический эпизод о своем деде, который служил солдатом-вахмистром на одном из кордонов Перекопского перешейка, и которому чумаки, возившие соль из Крыма, подарили целый обоз с волами и возами, а сами пошли за Днепр с одними кнутами.

— Ну, друзья! нужно бросить лот насчет графинчика,—прервал разговор Солдатенок.

— Верно, верно! Нужно скатить мостик,—разом заговорила компания из 5 человек.

— Вот сармачок,—хлопал себя по карману Солдатенок.

Услышав звон монеты, компания оживилась, точно она с вахты сменилась...

— Робу загнал...—лукаво улыбнулся Солдатенок, доставая из поперечного кармана поношенных брюк два серебряных «хруста» (рубля);—а хозяйке с дальнего пришлю.

— Эй, человечина! Вот под этот сармак!

Небольшая компания штурманов, после усиленного «декофта» предвкушая основательно «надраться», весело болтала и с завистью смотрела на Солдатенка, сумевшего попасть на «Игорь» под команду бесстрашного моряка, — лейтенанта.

— Правда ли, что лейтенант под командой Макарова открывал Северный полюс?

— Говорят, лейтенант ушел из военно-морской службы за какие-то запрещенные книги?..—без конца задавал вопросы штурман из Алешек.

— Ну, тише «ботай» об этом!.. Вон сидит «гороховое пальто».. Да и Одесские кресты надежны...

Компания выпила до «первого балла» и весело болтала о сказочном лейтенанте, слывшем в то время за популярного мореплавателя.

— Ну, Солдатенок! Держи, брат, фуражку на норд-ост, а иначе она у тебя пойдет на норд-вест...

— Говорят, у него железная дисциплина: заметил неправильно одетую фуражку, немедленно «майнает» за борт...

Так рассуждали наши штурманы, теряясь в догадках о том, что представляет собою лейтенант и почему он бросил блестящую военную карьеру и вышел в запас флота, сменив золотые погоны на погоны коммерческого флота—«крученый жгут».

— Ну, наливай по борту, а иначе на мостике Солдатенку будет скользко!

Солдатенок отказался пить, мотивируя тем, что ему непременно нужно подтянуться к железной дисциплине своего командира, которого он совершенно не знал, но о котором много слышал.

— Ну, мои друзья, уже две склянки! (Два часа ночи).

— Лимонься в дрезину!—ревел здоровенный штурман, ища приключения на свой 5-фунтовой кулак.

Полицейский свисток заставил подняться нашу компанию, и они все, кроме Солдатенка, при «шестисильном балле», «разбив кливера», «лавировали по притонам» (пошли по квартирам).

— Смотри, Солдатенок, ты непременно нам расскажешь о лейтенанте!

Солдатенок с робой под мышкой рано утром пришел на «Игорь»—он был записан 13 июня 1900 года.

Одновременно с Солдатенком был принят практикантом штурманский ученик Таганрогского мореходного класса, с которым Солдатенок познакомился и быстро сдружился.

До прихода командира «Игоря» штурманы познакомились с помощниками командира, обещая быть «покорными и внимательными».

Штурманы, заняв указанные им каюты, осматривали пароход и знакомились с командой.

Прости, читатель! Я невольно ввел тебя в заблуждение. Разреши мне заменить мое нарицательное имя—Солдатенок именем—«автор нашего рассказа».

Вахтенный матрос доложил помощнику о том, что идет командир «Игоря».

Вахтенный помощник стал у трапа, отдал рапорт, а команда стала смирно по местам, где кто работал. Командир поздоровался с помощником и командой, взяв под козырек по-военному...

Мы стояли в стороне и рассматривали наружность нашего командира, лейтенанта П. П. Шмидта.

Он был среднего роста, стройный, с красивой военной морской выправкой, свойственной сильным, опытным, бесстрашным морякам, в изящном мундире морского офицера, с погонами лейтенанта. Худощавое, чуть продолговатое, чисто выбритое, серьезное лицо с высоким лбом и зачесанными назад каштановыми густыми волосами освещалось большими, выразительными, карими глазами. В его движениях и манерах была заметна гордость, смелость, деловитая опытность, уважение к человеку, любовь к своему делу и бесспорное уважение дисциплины. Обыкновенно он держал фуражку в левой руке, оставаясь с открытой головой.

Командир красивым жестом правой руки пригласил нас в кают-компанию. Мы с уважением посмотрели на его красивый и вместе

с тем повелительный жест и как-то тревожно спустились в кают-компанию.

Я чувствовал, что у меня от волнения подкашиваются ноги, и мне казалось, что я не в состоянии буду отвечать на вопросы командира.

Я стоял молча, и мне казалось, что меня захватывает какая-то таинственная сила и подчиняет своей воле...

Командир ласково обратился к нам, указывая место жестом руки, и, завидуя нашей прочной комплекции, шутя сказал:

— Вы не чижики (чижиками дразнят штурманских учеников), а будущие морские орлы!

Отвечая на вопросы, заданные командиром, мы осмелели и стали выкладывать перед ним свои скудные познания, полученные нами в мореходных школах.

Помню, когда один из нас попытался щегольнуть полученными в школе без практической подготовки знаниями, командир ответил:

— Опытных моряков создают необ'ятный простор океанов и всевозможные стихии. Наша же теория и голые узкие термины немного нам дают, а особенно стоянки в бухтах и чистка медяшек по расписанию... Вам, юные моряки, нужно быть на волнах широких океанов и стойко выносить бушующую стихию...

Говоря это, командир внимательно рассматривал нас своими орлиными глазами, как бы угадывая будущих смелых моряков...

В короткий промежуток нашего знакомства и разговора командир так привлек к себе наши сердца, что мы готовы были целовать его от счастья...

Прежде, чем приступить к моим воспоминаниям, считаю своим нравственным долгом оговориться. Я буду писать о «Красном лейтенанте» только правду, основанную как на исторических документах, имеющихся в достаточном количестве, на показаниях ряда лиц, уцелевших каким-то чудом, имеющих прямое отношение к историческим событиям на крейсере «Очаков», так и на моих личных воспоминаниях с юных лет и кончая 1905 годом.

Но прежде, чем приступить к «Красному лейтенанту», невольно напрашивается мысль напомнить читателю о славных исторических памятниках в истории флота и последних славных героях-революционерах Черноморского флота.

Я не буду останавливаться на таких героях русского флота, как Нахимов, Корнилов, Лазарев, матрос Кошка и др. История уделила им много страниц.

Я остановлюсь на последних любимцах матросов — Копытове и Макарове.

Это были «матросы в адмиральских чинах» или «батьки», как их называли матросы.

При этих «батьках» матросы не знали жестоких издевательств над личностью, не знали бессмысленных гонений на «марс», сопро-

вождавшихся корабельными «лопарями», суровых боцманов и старших офицеров, ежедневно правящих «рангоут»... Они были старшими товарищами матросов. Они делили не только радости и печали, но и пищу из общего котла. Дисциплина была суровая, но она кончалась за бортом, а на берегу матросы чувствовали себя свободными гражданами, пользовались правом бывать в театрах, на бульварах, в общественных местах, ресторанах и подчас на запретных собраниях, где они почитывали запретные листки, предложенные им каким-нибудь «кудлатым» студентом.

Матросы любили этих «батьков», взаимное отношение было дружное. Были и такие, например, случаи: когда матрос отдавал «четыре якоря» (сильно пьян, не помнит, где он был), то его не наказывали, а, наоборот, принимали в нем участие и помогали мертвецки пьяному добраться до корабля.

«Батьки» держали себя просто с матросами.

Матросов не пугало неожиданное появление у «фитиля» командира; они вместе раскуривали трубочки и вместе курили махорку.

Командиры участвовали в различных играх и развлечениях на кораблях и даже были «заводными» товарищами. Командовали сами себе:

— Команда, петь и веселиться!..

Выходили на середину юта, вызывали противника на пляску, и матросы заквашивались старыми дрожжами свободного духа...

Вот из этой семьи «батьков» вышел «Красный лейтенант»—Петр Петрович Шмидт.

Родился «Красный лейтенант» 5 февраля 1867 года в г. Одессе.

Воля отца, известного моряка, предопределила ему морскую карьеру. Подрастающему Шмидту первоначальное образование пришлось получить в морском кадетском корпусе.

Будучи от природы смышленым, любознательным ребенком, Петр в 16 лет всецело отдался изучению социальных наук, к которым питал особенное влечение.

Убеждения молодого Шмидта складывались годами. Неустанно углубляя свои познания долгими размышлениями и тщательным анализом, он окончательно выработал и отшлифовал свой кругозор под влиянием публициста Н. В. Шелгунова и профессора экономики Н. А. Карышева.

Так постепенно, путем приобретения познаний, расширялся умственный кругозор его, и уже 17 лет П. Шмидт пришел к убеждению в необходимости социалистического строя.

По выражению самого Шмидта, «тот, кто изучал общественные науки, не может не быть социалистом; кто убеждался в необходимости стремления к всемирному равноправию человечества, тот не мог оторваться от мысли о грядущем счастье и, если в нем есть спо-

собность страдать за других, он положит душу свою за дело ускорения исторического прогресса...».

Так мыслил молодой социалист с ранней юности до самой своей трагической смерти...

По окончании морского корпуса П. П. Шмидт был произведен в офицерский чин и был назначен на ледокол «Ермак Тимофеевич», под командой «батьки» мореплавателя капитана 1 ранга Макарова, погибшего на «Петропавловске» в русско-японскую войну в чине вице-адмирала.

Во время экспедиции к Северному полюсу, Шмидт был молодым мичманом на «Ермаке Тимофеевиче» под командой Макарова и незаметно для самого себя приобрел популярность сильного, способного мореплавателя, как это видно из писем Макарова к Шмидту, которого Макаров любил и в воспитании которого, как молодого, подававшего большие надежды моряка принимал участие.

Вернувшись из Северной экспедиции, П. П. Шмидт был переведен по желанию в Черноморский флот под команду главного командира Копытова, который вскоре умер. Покойного старого «батьку» заменяли новыми главными командирами, на которых я остановлюсь своевременно.

Пользуясь известной популярностью среди моряков Черноморского флота, слывя за опытного морехода, молодой мичман создал себе известность не только среди своих товарищей-офицеров, но и среди матросов.

Как ни льстили популярность и уважение среди моряков молодому Шмидту, но он все-таки тяготился вечными стоянками на мертвых якорях в Севастопольской бухте, а равно и окружающей его средой, пропитанной кастовыми предрассудками.

Все это давило его и не позволяло развернуться его широкой и смелой натуре моряка-социалиста.

Чаша терпения переполнилась, и на одном из вечеров в Морском собрании Шмидт заявил своим товарищам:

— Я не могу плавать под вымпелом в Севастопольской бухте и командовать уборками трапов, под'емом и спуском шлюпок и канатных концов... Я не могу плавать на якоре вечных стоянок, выкрашивать в черный и белый цвет гнилые переборки старых разрушенных броненосцев... Мое место на новом вооруженном корабле... И мы все должны ковать броню для великого русского флота, а не закрашивать продырявленные ржавчиной трещины гнилого, отжившего корабля, давно напоминающего стальной гроб... Помните—недалеко то время, когда наш отживший флот будет разрушен при малейшем толчке новых кораблей... И мое место не здесь. Мое место там, среди океанов, среди рокочущей волны, среди широкого свободного простора... Там место смелых опытных сынов Колумба...

Мысли, высказываемые мичманом Шмидтом, вызвали много различных толков... Многие понимали молодого офицера и беспокои-

лись за его смелость; друзья напоминали ему, что имеется в России «святая святых», построенная в честь святых мучеников Петра и Павла (Петропавловская крепость), но Шмидт умел и мог страдать за других... И мрачные своды Петропавловки его не пугали...

Петр Петрович подает прошение об отставке, чтобы выйти в запас флота, и после долгого ожидания его производят в чин лейтенанта; Шмидт с радостью выходит в запас флота и поступает в торговый флот, где и принимается с распростертыми об'ятиями.

Плавал он на многих пароходах Добровольного флота старшим помощником и старшим офицером и затем был назначен командиром парохода «Игорь».

Здесь угодно было судьбе устроить меня штурманским практикантом под его командой; здесь-то я и познакомился с «учителем Петром», как мы называли П. П. Шмидта.

II.

Весть о назначении Шмидта командиром на пароход «Игорь» быстро распространилась среди моряков торгового флота, а особенно среди тогдашних штурманских учеников, мечтавших попасть в практическое плавание под командой опытного командира. Признаюсь, что, когда я вступил на борт «Игоря» и увидел своего командира, мне показалось, что я счастливейший человек на всем земном шаре... И во время недолгой стоянки в Одесском порту, погрузки парохода и посадки пассажиров, которых было очень немного («Игорь» был грузо-пассажирский пароход), мы, мы встречаясь со своими товарищами, с гордостью говорили: «Мы уходим в море под командой всеми уважаемого лейтенанта».

— А! Того самого, кого командиры других пароходов называют «красным»?—острили недовольные и завидующие товарищи.

— Ну, довольно, чижики! А иначе «мордошлепку» получишь,— защищали мы своего командира.

Плавание под командой «Красного лейтенанта» сопровождалось всевозможными перипетиями, каковые могли встречаться только в морской жизни.

Достаточно напомнить морской устав и суровую дисциплину, которая была у «Красного лейтенанта» на первом месте.

Когда подавалась грозная команда, мы, ученики, принимали ее с лихорадочным трепетом и, жадно улавливая каждое слово командира, нервно поворачивали рукоятки и четко кричали: «Есть 5 градусов право!.. Есть 32 румба!.. Есть—отходи!..» Вообще старались быть исправными в приемке команды, требовавшей быстрого и точного выполнения.

Команда была для нас чем-то таинственным, повелительным, а особенно во время шторма. Наши юные души дрожали, зубы лихорадочно стучали, и мы уже не видели нашего нежного и ласкового ко-

мандира, мы видели грозного непреклонной воли моряка, и нам казалось, что это не тот обожаемый командир, а какой-то грозный повелитель, перед которым все должны были преклоняться.

Да, он мог подчинить своей воле не только впечатлительную натуру, но и самый непреклонный характер... Его сильная воля действовала даже на самых отчаянных с жестокими сердцами матросов, видавших виды за долголетний период среди всевозможных бурь... Команда «Игоря» любила своего грозного и справедливого командира, безупречно подчинялась его распоряжениям и даже угадывала его жесты и движения.

К своим помощникам, а также и к нам, ученикам, «Красный лейтенант» особенно требовательно относился во время плавания при исполнении нами обязанностей на вахте.

Были и такие денечки, что «Красный лейтенант» не сходил с мостика по 30 часов, внимательно следя за бушующей стихией и рокочущей волной, кидавшей «Игоря», как ничтожный осколок разбитого корабля.

Его помощникам и нам, вахтенным ученикам, приходилось по 12 часов «оплакивать» свою неприглядную морскую практическую жизнь, а смелые матросы хихикали над нашим будущим «благородием».

За самые пустые, но недопустимые проступки нам часто приходилось чистить вне очереди медяшку, скатывать палубу, пригибаясь на корточки и усердно натирая голяком с песком палубу по «субботнему расписанию», шлепая босыми ногами по катившейся воде, с покрасневшими от холода ногами, напоминавшими гусиные лапки...

Самые отчаянные матросы, «морские волки», боялись «Красного лейтенанта». Были, например, такие явления. Вахтенный докладывал по своей вахте, не обращая внимания на свою фуражку, которая сидела на его голове так, как только может сидеть на самой забубенной головушке отчаянного и ничего не признающего, кроме своего желания, матроса. Такие матросы после своего доклада должны были проститься с предательской фуражкой.

«Красный лейтенант», внимательно выслушивая доклад, обращал внимание матроса на его уменье держаться и на его фуражку, говоря:

— Твоя фуражка непокорна, она не умеет держаться на голове примерного моряка, а поэтому ты должен ее выбросить за борт... И фуражка летела за борт, выброшенная самим владельцем по приказу «Красного лейтенанта», в присутствии всей команды, со словами:

— Прощай, моя норд-вестка. Я не умею тебя носить.

«Красный лейтенант» поворачивался и уходил, а смущенный, сконфуженный матрос возвращался в кубрик, признавая себя вполне виновным в том, что его фуражка действительно была безобразно надета на вахте...

«Красный лейтенант» не признавал ни военной системы наказаний—ставить к трапу, сажать в карцер (о «мордошлепстве» не приходится и говорить), ни применяемых на пароходах торгового флота—штрафовок и исключения с парохода; также не было ни одного случая, чтобы «Красный лейтенант» когда-либо выругался. Нет! Дисциплина поддерживалась исключительно взглядом, который казался всегда страшным и подчинял своей воле. Вот что заставляло трепетать команду! Этот грозно-молчаливый взгляд гипнотизировал каждого!

Особенно лейтенант преследовал тех из боцманов, кто был слаб на руку и любил «шлепать» матросов. Здесь уже не спасали никакие веские оправдания со стороны обидчика. Любитель «мордошлепства» немедленно без шума, молча, списывался на берег в первом попавшемся порту. Мольбы и просьбы были излишни. Был ответ:

— «Мордошлепам» у меня места нет! Я от них ушел с военной службы. Здесь только свободный матрос-гражданин, строго подчиняющийся своим обязанностям во время службы.

Благодаря такой благоразумной дисциплине «без слов», весь экипаж положительно перерождался, перевоспитывался и был наглядным примером и образцом для других экипажей.

В ближайшем порту фуражка покупалась за счет «Красного лейтенанта», несомненно лучшая, чем была, но пережитое матросом треволнение напоминало ему «торжественное утопление фуражки», и злая острота товарищей не сглаживалась из памяти потерпевшего.

Бывали неожиданные появления в кубриках.

«Красный лейтенант» спускался ночью в помещение команды и наблюдал, как спит команда, и в достаточном ли порядке постели. Если он видел, что кто-либо читает, то он просматривал, что матрос читает, и делал свое заключение и часто советовал читать Некрасова. Помню, Некрасов был даже специально куплен для команды, и в один из вечеров «Красный лейтенант» прочел команде «Русские женщины» с пояснением, кто были декабристы, а также «Дедушку» и «Кому живется весело, вольготно на Руси». Этими дружескими отношениями команда дорожила; она часто просила «Красного лейтенанта» что-либо прочесть, и он охотно спускался к команде и читал.

Достаточно было заметить, что подвахтенный матрос спит в одежде, матрос немедленно будился тихонько, чтобы не нарушить сна остальных матросов, приглашался выйти на палубу, и так же спокойно «Красный лейтенант» приказывал лентяю становиться вне очереди на вахту, говоря:

— Ты одет и можешь стоять на вахте, а он за тебя разденется и может прекрасно спать...

Подобные лентяи не отделывались одной вахтой. На другой день был тщательный осмотр вещей, ящиков и чемоданов, и, если вещи

были не в должном порядке, «замарашка» должен был немедленно привести в порядок и пригласить на осмотр его «самого».

Если же замечался какой-либо непорядок на кухне, то «Красный лейтенант» и тут делал самый внимательный осмотр: заглядывал в котлы и во все те углы кухни, которые были известны одному «коку», и на кухне происходила полнейшая революция.

Посуда положительно вся чистилась по «субботнему расписанию», с песком.

Удивительно то, что «Красный лейтенант» никогда не предупреждал виновного, что, если упущение им будет замечено вторично, то он подвергнется суровому наказанию. Нет, этого никогда и не было; «Красный лейтенант» был уверен, что после замечания проступок больше не повторится.

Каждый день давались сведения, как питается команда. Проба производилась обязательно не в кают-компании или на мостике, а непременно на кухне из общего котла.

Штурманам было распоряжение заниматься с малограмотными матросами в специально назначенное для этого время. Для этого приобретались учебники и учебные принадлежности за счет парохода. Сам же «учитель Петро», как мы все называли «Красного лейтенанта», садился на шканцах среди команды и много рассказывал—говорил о самодурствах монархов прошлых столетий, о придворных интригах и трубадурстве императоров, императриц не только России, но и западных государств и даже рассказывал о демократических правлениях.

Помню, матросы интересовались царствованием Екатерины и задавали вопросы больше на почве ее интимной жизни, чем ее государственной деятельности.

— Да, дама была неглупая,—ответил «Красный лейтенант»; рассказывая ее интимное фаворитство, он коснулся и истории государства. Матросы были положительно восхищены.

«Красный лейтенант» много говорил о декабристах. Его страстью было раз'яснять, за что они были казнены и отправлены в каторгу.

Подобные беседы захватывали аудиторию. Помню, матрос Шулика выучил на память поэму «Дедушка». «Красный лейтенант» отнесся с похвалой к декламатору и подарил ему Некрасова в красивом розовом переплете.

Помню, один из матросов-хохлов спросил своим чисто национальным наречием:

— Ваше благородничество! Буды тэ ласкови, скажить мини завище Катырына закувала в кандалы Т. Г. Шевченко?

«Красный лейтенант» об'яснил и удовлетворил любознательного хохла Цурпалку, и Цурпалка продекламировал:

...Зла ти дивко Катырино, чу—ты народила.
Край вэсэлый, край широкый ты заполонила...

Были, например, и такие случаи: матрос Омельченко не мог разобраться в поэмах—«Ян Гус» и «Папская булла». Он осмелился разбудить «Красного лейтенанта» и просил раз'яснить непонятные места. «Красный лейтенант» в постели толково об'яснил непонятное Омельченке; такая доступность «Красного лейтенанта» особенно привязывала к нему команду. И, наоборот, во время командования пароходом команда положительно страшилась своего командира, особенно во время бури.

Во время стоянок на якоре, сидя в кают-компании, мы забывали грозного командира и его строгость на мостике, его суровость и его сильную повелительную волю. Мы были окружены самой нежной заботой любящего отца. Мы были обласканы, как умные дети. И тогда он говорил:

— Вы теперь не в обществе командира, а в обществе вашего «учителя Петра», а вашим командиром я бываю на мостике...

И мы смотрели на своего командира и «учителя Петра» как-то любовно-детскими глазами. В эти моменты он производил на нас обаятельное впечатление. Мы забывали командира, а видели перед собой учителя, отца, брата, хорошего друга и товарища.

Да, «Красный лейтенант» был действительно искренним старшим товарищем.

Утешенные, обласканные своим незабвенным «учителем Петром», мы с особенным вниманием слушали его научные беседы и длинные захватывающие душу рассказы из Северной экспедиции. Для нас, учеников, открывался неизвестный нам новый мир.

Часто подолгу он рассказывал нам о республиканском государстве Новая Зеландия, о ее свободном правлении, а попутно знакомил нас с разными способами управления государств, ярко выделяя отсталое монархическое государство России и Турции. Часто останавливался на декабристах, на сороковых, шестидесятых и восемьдесят первом годах. События 1881 года производили на нас сильное впечатление. О терроре, направленном на Александра II, мы слушали с неудержимым трепетом души, с замиранием сердца. Касался он и хождения «в народ».

Перед нашим юным пылким воображением вставал ход истории революционного движения в России.

Горячо и увлекательно доказывал «Красный лейтенант» безрезультатность хождения «в народ». Народники, по его мнению, принесли бы больше пользы, если бы они свои идеи и стремления направили прямо в войска и в этой военной массе создали бы мощную организацию.

— Войска—дети народа. Они временно вышли из родственной им семьи, им знакома тернистая трудовая дорога... Неудачно было выступление декабристов; но не следует думать, что путь декабристов был ошибочным, и что надежда утеряна... История говорит, что везде государственный строй был опрокинут только войсками и

немногими руководящими единицами. Я твердо верю, что Россия освободится при помощи войск... Империя будет опрокинута, и вековые оковы будут разорваны только путем вашего смелого, решительного вооруженного восстания... Я твердо также верю, что мы, моряки, займем видное место в истории революционного движения...

В то время наблюдалось в военном флоте два течения. К первому принадлежали боевые товарищи и «батьки» матросов в адмиральских чинах — Копытовы, Макаровы, и за их спиной матросы русского флота. Ко второму—Чухнины, Кригеры, Скрыдловы и маменькины шалопаи; им ничего не стоило применять бессмысленную муштру, жестокие избиения и издевательства, как раз над тем, что в нашем флоте называлось разумной дисциплиной.

Вот эти два противоположные течения должны были уступить место революционному течению.

«Красный лейтенант» нервно поднимался с своего места, становился в полуоборот, встряхивал головой, как-будто старался отогнать какую-то тревожную мысль.

Мы также пугливо поднимались, пугливо осматривались, а особенно, когда взгляд «Красного лейтенанта» останавливался на комлибо из нас. Мы жадно улавливали мысли «учителя Петра», смело подходили к нему, говоря:

— Если судьба России зависит от нас, то мы готовы обнажить свои остро отточенные кортики и стать на защиту счастливой будущности России.

«Учитель Петр» добродушно смотрел на нашу наивную смелость и повторял вслух любимое выражение из «Дедушки» Некрасова:

«Вырастешь, Саша, узнаешь, лучше пойдем погулять»...

III.

Когда мы получали разрешение итти на берег, то мы, штурманы и помощники, считали своим долгом явиться для осмотра наших штурманских мундиров, в которых «учитель Петр» любил изящество морской формы.

Мы старались держаться примерными и опрятными, чтобы не вызвать складку на лбу своего обожаемого учителя, так как перед уходом на берег «Красный лейтенант» выходил на палубу осматривать команду, как она одета.

Штурманам напоминалось несколькими словами, как нужно себя держать на берегу, и уже эти напутствования были не как учителя, а как командира, а потому мы дисциплинированно сходили по трапу.

На берегу мы чувствовали себя гордыми и, пожалуй, недоступными.

Нужно сказать, что насколько мы были близки к своему «учителю Петру», настолько мы были далеки от «Красного лейтенанта».

Нам казалось, что нами руководит какая-то сильная воля, какая-то сила, повелевающая нашим рассудком, нашей душой, нашим мышлением, нашими способностями и нашей беспомощностью.

Мой ум отказывается разобраться в этом сверх'естественном влиянии.

На берегу мы себя держали примерно, с гордо приподнятой головой, сознавая собственное достоинство, щеголяя своими новенькими мундирами, и часто осматривали свои плечи, на которых красовались старательно вычищенные золотистые штурвалы, с гордостью показывая себя своим товарищам, таким же «чижикам», как и мы сами, но под командой других командиров. Мы даже немножко свысока смотрели на них, показывая, что мы, де, счастливейшие человеки в мире...

Наши товарищи смотрели на нас с завистью и задавали друг другу вопросы:

— Где они плавают?

Знающие нас давали ответ.

— А, это тот лейтенант, которого наши командиры называют «красным»??! «Клево»,—право, счастливые бестии...

Мы также самоуверенно говорили, что нам, штурманским «ученикам Петра», без труда удастся «перенести якорья» (перейти в следующий класс) после практического плавания под командой «Красного лейтенанта»,—достаточно было одной отметки о практическом плавании с «Красным лейтенантом», чтобы его практиканты без экзамена перевелись в следующие классы.

В наше время журнал практического плавания с отметками некоторых командиров имел большое значение. «Красный лейтенант» на отметки был скуп.

Двухлетнее практическое плавание под командами опытных моряков, а особенно последнее плавание под командой «Красного лейтенанта» с его строгой дисциплиной, разумной и справедливо применявшейся к морскому плаванию, дало нам блестящие результаты в практическом познании, опытность, смелость, широкий кругозор. Его благородная система дисциплины никогда не изгладится из моей памяти; я буду помнить ее до глубокой старости, если последняя меня побалует...

Помню первый интересный случай в моей жизни того времени.

Мне первый раз пришлось видеть партию каторжан, отправлявшихся на остров Сахалин. К пароходу Добровольного флота «Херсон» была приведена партия арестантов. Я до тех пор никогда не видел их. Эти страшные преступники произвели на меня ошеломляющее впечатление. Перед моими глазами проходила партия каторжан «сахалинцев», закованных в ножные кандалы. Арестованные шли стройными рядами по 4 человека, одетые в серые мрачные халаты и с такими же мрачными лицами, с выделявшимися холстяными тузами на худой измученной спине, с полуобритыми головами, бородами и

усами. Обращение конвойных солдат, таких же серых, было грубо и сурово: они толкали прикладами по спине выходивших из строя арестантов; эти озлобленные, искаженные, с землистым цветом лица, точно не ощущали боли и будто не замечали ударов, только смотрели страшными глазами на конвойных и без протеста, молча, становились в ряды по «четыре». В передних рядах партии шли несколько рядов закованных в ручные и ножные кандалы. Это были «вечники» (имевшие бессрочную каторгу).

Я подошел ближе к этим ужасным преступникам, заклейменным «вечным каторжанам», и на меня произвел особенно сильное впечатление один из «вечников». Он был громадного роста, с черной полуобритой головой, с изуродованным оспой лицом и черными на выкате глазами, злобно сверкающими. Гремя оковами, он быстро шел, смотря вперед, с протянутыми руками, с нервно сжатыми кулаками, как бы намереваясь вонзить страшное оружие по рукоятку каждому, кто попадется ему на дороге.

Это был отчаянный убийца Давгань (из Волынской губернии). Потом мне пришлось с ним встретиться на Амурской каторге. Об этом расскажу позже.

Я смотрел с явной враждой на партию, и мне все-таки хотелось протянуть руку помощи, облегчить их безмерное страдание. Но чувство страха и явной вражды к ужасному преступнику Давганю, совершившему 53 убийства, как это мне пришлось узнать от него самого впоследствии, останавливало меня.

В те юные годы мне казалось, что, если бы мне пришлось быть в обществе этого страшного Давганя, я бы не вынес, со мной случился бы разрыв сердца от одного его присутствия. Мне казалось, что для такого преступника было мало наказания вечной каторги, ножных и ручных цепей. Хотелось еще чего-то большего.

С таким впечатлением я вернулся на борт судна и рассказал «Красному лейтенанту» о виденном мной и о том грустном настроении, которое я вынес от серой процессии партии «сахалинцев».

— Ты, голубчик, строго их судишь, ты бы гнев свой придержал,— говорил мне «Красный лейтенант», беря меня за плечо.—Это несчастные люди, которых нужно не судить, а жалеть, хотя я с тобой отчасти и согласен в том, что многие из них заслуживают твоего приговора и презрения, но в России кара за уголовные преступления поставлена слишком безрассудно. Всякая преступность наказывается втройне: сидят под следствием долгие годы, затем их приговаривают к высшим мерам наказания—первой или второй категории каторги; они отбывают ее, а затем поселение; так они и остаются заклейменными каторжанами всю жизнь, и все это, вместе взятое, называется наказанием втройне.. Кроме того русский закон нецелесообразен тем, что он дает большое наказание на долгие годы, и еще тем, что на содержание преступников государство расходует слишком много материальных средств, не извлекая из этого даже и одной трети

пользы, так как русские преступники почти не заняты трудом, что могло бы пополнить доходы государства хотя бы на одну треть того, что израсходовано на их содержание.

— Ну, дорогой, — продолжал «учитель Петр»,—предоставим преступников министру юстиции. Пусть заботятся они и сокращают преступность, начиная с больших рангов. Там поголовное взяточничество, начиная с тюремного министра и кончая последним тюремщиком, надзирателем; и этих первых преступников не только не наказывают, а даже поощряют. Ловкие мошенники, взяточники, вместо наказания, создают себе блестящие карьеры по службе. А мелким преступникам приходится быть «вечными» каторжанами и медленно ожидать общей каторжной могилы; тебе же, русскому моряку, гражданину, не советую быть строгим. Русские граждане, и особенно свободолюбивые, такие, как ты или я, не застрахованы от толчков и ударов конвойного солдата или жандармской плети, не застрахованы от судьбы той серой процессии, которую ты только что видел.

Меня бросило в дрожь, и я с испугом отшатнулся от «учителя Петра», который спокойно продолжал, как бы заранее предугадывая мою судьбу:

— Ты еще юный, жизнь твоя впереди, ты должен познакомиться с тернистой дорогой, с ее опасными препятствиями и железными преградами. Помни, что нужно быть стальным, стойким, сильной воли человеком, чтобы удалить преграды, стоящие на пути к правде и к темной народной массе. Помни, что есть выход к правде, старайся уяснить его себе, продумать и уметь страдать за других. Пройдут годы, а, быть может, и десятки лет, но свет истины, свет правды всплывет на поверхность; тогда народ своей могучей, быть может, и кровавой волной смоет всю неправду, а свет правды озарит весь русский народ. Только тогда народ стряхнет оковы, которыми он скован веками. Он тогда занесет свой титанический молот и выкует счастье России, тогда взойдет яркое солнце, и мы пойдем прямой дорогой к светлой жизни социализма.

Наша небольшая аудитория состояла из 4 человек: двух штурманов—первого и третьего—и помощника, которого «Красный лейтенант» почему-то называл социал-демократом; среди нас я себя больше всех почему-то считал виноватым, так как на мне был сосредоточен весь разговор.

Я видел, как его апостольские глаза горели огнем веры в светлое будущее России, и я, наивный юноша, близко воспринимал его доводы. Я по-детски расплакался и чувствовал угрызение совести за свой страшный приговор, вынесенный мною арестантам, отправляющимся на остров Сахалин.

Он дружески успокоил меня, говоря:

— Ты должен быть не наивным юношей, а смелым, бесстрашным моряком; тебе уже идет 21-й год, а ты наивен. Ведь ты исторический

человек. Ты рожден в 1881 г., в день гибели «акробата благотворительности».

Кто был «акробат благотворительности», мы не поняли. «Красный лейтенант» вышел из кают-компании, а мы ломали головы в догадках.

Потом он нам об'яснил:

— Бомба Кибальчича всколыхнула закрепощенную Россию.

IV.

Время шло. Я продолжал свое практическое плавание после школы. В плавании я горячо полюбил своего «учителя Петра», и мне думалось тогда, что от него зависит освобождение России.

Я просил один месяц отпуска с зачетом в практическое плавание, мне не было отказано, и я отправился в отпуск, в Таврическую губернию в г. Перекоп.

Перед отправкой «Красный лейтенант» предложил мне снять план с Перекопского перешейка, который был мне известен, как собственное платье. Мой дед когда-то служил на перекопском кордоне вахмистром, и мне с юных лет пришлось лазить по его всевозможным прорывам и укреплениям.

Всякое поручение «Красного лейтенанта» было для меня свято, и я его свято и выполнил. Пользуясь временем отпуска, я снял Перекопский перешеек с малейшими подробностями, начиная с залива Черного моря и кончая Азовским с заливами и болотами.

Неоднократно задавал я себе вопросы: зачем «Красному лейтенанту» понадобился план этого исторического и почти забытого на карте Перекопского перешейка, и я был особенно заинтересован и охотно выполнил свою несложную работу в надежде на то, что мне представится случай узнать от «Красного лейтенанта» назначение этого плана.

За время своего краткого отпуска я точно узнал, что я не пользуюсь никакой льготой, освобождающей меня от военной службы, и что мне непременно придется итти на военную службу.

Признаюсь, я имел особенное отвращение к военным службам, как к морской, так и сухопутной, и только, кажется, потому, что мне так много пришлось слышать от «учителя» о тех вечных стоянках на мертвых якорях, о той палочно-веревочной системе жестокой муштры, какая применяется во флоте при Скрыдловых и Чухниных.

Я твердо решил дезертировать от военной службы, если я буду принят, или даже до об'явления мобилизации. Я решил до призыва остаться в каком-либо порту за границей, так как при всем желании мое практическое плавание не будет кончено, и я до призыва не получу диплома штурмана дальнего плавания.

Встречаясь со своими хорошими друзьями, я видел, что они мне завидовали и почему-то уже не называли «нигилистом», а просто «бунтарем» (конечно, в кругу своих товарищей, ибо в то время слова революционер или революция преследовались больше, чем эпидемия. Мы даже остерегались думать произнести «ужасные слова», да они и произносились очень немногими моряками, да «кудлатыми студентами»).

После возвращения из отпуска я был встречен дружески «Красным лейтенантом»; передал ему добросовестную работу, план Перекопского канала (перешейка), который я держал в тайне от всех; меня мучило неудержимое желание узнать, зачем учителю план...

Время шло быстро, приближался день мобилизации 1902 г. И чем скорее проходили дни, тем сильнее меня угнетала мысль, что мне нужно являться на сборный пункт.

Я решил открыть «учителю Петру» глубокую тайну о моем решении не итти на военную службу, хотя я заранее знал, что он будет против дезертирства. Я помню, он говорил: «Напрасно сознательные моряки уходят со службы; наоборот, они непременно должны быть в среде матросов; они принесли бы больше пользы, чем офицеры русского флота».

После небольшой стоянки в Одессе пароход «Игорь» должен был отправиться в заграничное плавание.

В заграничном рейсе желание дезертировать у меня усиливалось с каждым днем, с каждым часом...

— Бежать от родины. Какой позор!—останавливали меня патриотические чувства, точно молотом стуча по моему разгоряченному мозгу.—Разве мы пасынки в России?!—Но те мысли заменялись другой мыслью:—Бежать!... Бежать в первом заграничном порту. Я не хочу подчиняться суровой палочной дисциплине, жестоким адмиралам в боцманских чинах; их безобразной, чудовищной системе «мордошлепства».

Я твердо решил доверить тайну «Красному лейтенанту».

Во время хода я сменился с вахты и направился в каюту «Красного лейтенанта». Я спускался по трапу, у меня было самочувствие злого, беспощадного преступника. Я несколько раз подходил к двери каюты «Красного лейтенанта» и опять и опять уходил с бьющимся сердцем, глубоко засовывал руки в карманы, чтобы предательская рука не постучала в дверь. Лихорадочно стискивал зубы, чтобы моя тайна не вырвалась у меня из груди; и так прошло много времени. Я поднимался обратно на палубу, не решаясь высказать свои преступные мысли, поджидая более удобного момента.

Гнетущее состояние и мои грустные думы не ускользнули от наблюдательного командира. Он стал замечать какую-то перемену во мне. Задавал мне вопросы:—Почему ты так долго и одиноко простаиваешь у борта и мрачно настроен? Мне кажется, что ты тяготишься чем-то? Быть может, тебе надоело плавать под моей ко-

мандой? Быть может, ты чувствуешь, что ты провалишься на экзамене? Нет! Я уверен, что мои практические штурманы-ученики выдержат экзамены успешно. В этом я уверен.... А, быть может, ты увлекся той блондинкой, которая была внимательна к твоей вахте?.. Которая просила меня сократить твою вахту на один час...

Я отвечал:

— Не боюсь экзаменов, очень доволен быть под вашей командой, и слишком далеки мысли от блондинки «Флорины», хотя иногда сердце и бьется учащенно.

Наконец, я решил определенно поведать свою преступную тайну и смело пошел в каюту.

«Красный лейтенант» читал какую-то книгу (прежде, чем уснуть, он прочитывал 25—30 страниц какого-либо серьезного научного труда; потом толково передавал, благодаря своей исключительной памяти). Он положил книгу на компас, подобрал пряди волос, упавшие ему на широкий лоб, и вопросительно посмотрел на меня, на мое, очевидно, взволнованное лицо и сказал:

— Ну, Вася, говори, что у тебя на душе?!—Такое обращение ободрило и укрепило меня в решении высказать свои тайные мысли.

— Не скрывай, ты всегда делишься со мной твоими тяжелыми мыслями. Если можно, помогу, посоветую, за исключением твоих сердечных дел,—пытался шутить учитель.

— Петр Петрович!—как-то даже повелительно сказал я,—я принципиально не признаю войны, всякая война мне противна...

— Ого, мой друг! Тогда мне следует вынести мои военные мундиры на время твоего присутствия... Ведь, они, очевидно, на тебя действуют!..—попытался вторично пошутить «Красный лейтенант» над моим смешным и нелогичным выражением...

— Нет, Петр Петрович! Я не признаю войны с ее кровавыми последствиями и теми голгофами трупов, которые война оставляет позади себя. Мне кажется, что культурные государства должны разрешать возникшие экономические недоразумения путем дипломатических переговоров, а не двенадцати-дюймовыми орудиями и различными хитростями полководцев-стратегов. В этом противном, кровавом кошмаре гибнут глубокие мыслители и светлые всесторонние умы, которые были бы направлены на устройство государства, но не на разрушение—и только потому, что кому-то угодно вызвать кровавую бойню. Скажите, какую я пользу принесу на военной службе? Разве от войны государство не разоряется? Разве сельскохозяйственная экономика не гибнет, теряя на военной службе лучшие рабочие силы; 2½ миллиона человек не дают никакой производительности, кроме убытка. К чему вся та дикая система палочной дисциплины со всеми ее муштрами и мордошлепствами? Эти богатырские силы должны будут крошить гнилые переборки отживших кораблей, как вы сами изволили убедиться. Затрата силы, трата времени, а главное, затрата колоссальной суммы на содержание

лежебоков на военной службе, на сооружение и на укрепление морских и сухопутных крепостей. При малейшем натиске корабля более усовершенствованного старые корабли идут ко дну, а сухопутные крепости переходят в руки неприятеля. Кроме того, что сельское хозяйство или промышленность остается без рабочих рук, но оно еще затрачивает колоссальные суммы на поддержку члена своей семьи, служащего на военной службе, так как на 42 коп. в 2 месяца жить нельзя. Мне кажется, было бы можно купить кусок земли в 3 раза больше площадью, чем мы отнимаем у противника бессовестным, жестоким, кровавым насилием. Вследствие всего этого я чувствую полнейшее отвращение к войне и не считаю нужным итти на военную службу. На арену мировых безумий... Я... я... хочу дезерти... я не мо... гу служить!!.

Меня так давила спазма, что я вынужден был кончить свои смешные доводы и аргументы для оправдания моего дезертирства.

«Красный лейтенант» протянул ко мне руку, точно хотел меня удержать, думая, что я уже сейчас дезертирую, что собрался бежать...

— Мой юный друг!—сказал он ласково,—ты много говорил, а мало сказал... Во-первых, материка мы не можем купить, так как ни одно государство не согласится нам его продать... Во-вторых, тебе следует итти на военную службу только потому, что ты ярый противник ее, и чтобы быть против войны. Я с тобой вполне согласен. Я также не признаю войны и беззаконного убийства людей. Но ты должен итти на службу. Пусть тебя благословит небо на доброе дело. Быть может, ты хоть что-нибудь сделаешь, если так будешь рассуждать. Я за тебя рад и благодарен тебе за твой впечатлительный и восприимчивый ум. Так думает каждый социалист, и так должен думать здравомыслящий гражданин. Быть может, эта задача будет разрешена, когда человечество будет жить в социалистическом строе, а теперь этот сложный ребус разрешить мы не можем. Ты же, мой друг, должен итти на военную службу и не быть дезертиром или эмигрантом, что очень тяжело; этого ты себе не мог еще уяснить. Ты видел наших соотечественников, эмигрантов-социалистов? Помнишь милую личность Владимира Быстровзорова, который нам предлагал поднять флот, отрезать Крымский полуостров и об'явить федеративную республику? Тогда он только может вернуться в родную могучую Россию. Ты знаешь также и многих дезертиров за границей. Ведь, ни от кого же ты не слышал лестного отзыва о своем существовании. О друг, слишком тяжелое испытание быть дезертиром тому, кто любит свою родину, а тем более—остаться в Англии. Ты будешь испытывать боль, ты не забудешь своей родины, как не забудешь и того, что ты сделался ее пасынком. Мы, социалисты, нужны России, мы и должны остаться в ней... Быть может, предположения Владимира Быстровзорова и сбудутся; меня эта мысль не покидает. Вот почему я просил тебя снять мне точный план

Перекопского перешейка со всеми подробностями, сивашами и болотами.

«Красный лейтенант» испытующе смотрел на меня и что-то еще говорил, но я уже не слышал. У меня кружилась голова от рисовавшейся в моем воображении Крымской федерации.

«Красный лейтенант» поднялся на локоть правой руки, лежа в постели, и продолжал:

— Предложения г. Быстровзорова вполне допустимы и безусловно на верном пути. Предположим, что удалось бы поднять Черноморский флот и захватить его в руки революционного комитета. Флот может обслуживать берега Черного моря, а имеющиеся в Крыму сухопутные войска укрепят Перекопский перешеек и Ченгарский мост; сделают заслон, чтобы не допустить войск из центра России; вполне можно было бы укрепить республику на Крымском полуострове, если бы мы даже не встретили симпатии со стороны Западной Европы. Республика защищалась бы таким мощным флотом, как Черноморский.

«Красный лейтенант» так увлекся своей мыслью, что поднялся с кровати, стал у иллюминатора, замолчал и сосредоточенно о чем-то думал.

V.

Я согласился итти на военную службу и принести в жертву своего «штурмана дальнего плавания» будущему счастью свободной России.

«Красный лейтенант» дал мне слово оградить меня от бессмысленной муштры, которая называлась дисциплиной.

Я чувствовал, что я способен был мыслить, как может мыслить юный социалист, я также чувствовал, что мои убеждения крепнут под руководством социалиста, лейтенанта Шмидта.

В 1902 году, в августе месяце, я простился с своим обожаемым «учителем Петром», был призван на военно-морскую службу в Черноморский флот и зачислен в 30 флотский экипаж команды броненосца «Три святителя» под команду капитана I ранга Дашлевского.

Кампанию проплавал на стационерке «Пзезуйе» в Румынии, вернулся в экипаж и был назначен в школу подшкиперов, этим и кончилась моя морская карьера.

Экзамен я выдержал и лежал в экипаже, ожидая вакансии.

Жизнь в экипаже была неприветливая, шаблонная, тоскливая и скучная.

Ежедневные поверки утром и вечером превратили меня в какой-то несложный военный механизм; мне казалось, что мне вставили вместо моей души какую-ту военную пружину, которую можно заводить как угодно и когда угодно.

Строгое подчинение и чинопочитание, начиная с боцмана и кончая вице-адмиралом. Боцманы и фельдфебеля были грозой экипажа, строго взыскивали по всем правилам военно-морского устава.

Достаточно было опоздать на поверку на 5 минут, чтобы очутиться «нетчиком», быть записанным в черную книгу, а если не явишься и на утреннюю поверку, то уже судьба твоя была предрешена и вверена фельдфебелю, который может тебя отправить на пловучку для исправления: «дурь выгнать», как выражаются фельдфебеля...

В конце 1903 года образовалась военно-морская организация П. С.-Р. и наводняла прокламациями все углы флотских экипажей, корабельную сторону и порт...

Матросы зачитывали «до дыр» запрещенные листки, как тогда их называли, тихонько шушукались у своих столиков и кроватей, лукаво перемаргивались и говорили:

— Братва работает.

Приказом штаба Черноморского флота я был переведен на имеющуюся вакансию подшкипера из 30 в 32 флотский экипаж и зачислен в команду крейсера «Очаков»; и опять потянулись праздные дни валяния на койке. Я не приступал к своей специальности, так как «Очаков» был в постройке и стоял на порту. И мне ничего не оставалось делать, как заниматься запрещенными листками, с которыми я был очень осторожен, так что наша маленькая организация положительно не была никому известна.

С появлением листовок начались усиленные обыски в экипажах. Обыски производились самым тщательным образом; даже мочала из тюфяков и волос из подушек,—все вытряхивалось и внимательно просматривалось, столики, сундуки переворачивались вверх дном и обстукивались—нет ли где-либо обшивок, за которыми хранятся «едкие прокламации».

Помню специалистов-мастеров обысков; в 30 ф. э. был фельдфебель Клочков, специалист и знаток своего дела, как он сам говорил:

— У мэнэ ны сховается оти прокляти прокламации... Я скризь их найду...

И этот хохол действительно умел находить как прокламации, так и их читателей, которые быстро отправлялись под арест и дальше...

Самый главный мастер по обыскам прокламаций не только в 32 экипаже, но и по всем экипажам, был боцман Каранфилов. И он, кажется, дослужился до лейтенанта.

Каранфилов был истребителем «крамолы». Матросы трепетали от этого истребителя, а обыски называли «каранфиловским погромом».

Невольно мысль останавливается на этом мастере сыска того времени.

До военной службы Каранфилов был чабаном в одном из имений крупного помещика Фальц-Фейна. Чабаном он был не первым, а третьим—ему доверили гарбу с башкирскими волами и несколько злых собак, которые специально были предназначены из питом-

ников для овечьих стад. Самостоятельным чабаном Каранфилов быть не мог, так как для ухода за нежными овцами Фальц-Фейна требовалась долголетняя специализация с большим практическим стажем, и Каранфилов мог быть только подпаском. Так рос и воспитывался наш «герой» в степи, безграмотным и невидевшим почти ничего, кроме чабанов, овец, собак да широкого простора многотысячно-десятинной площади помещичьей земли, на которой он пас стадо баранов. Рос и толстел здоровенный детина в степи до 21 года, питался черным хлебом, которого он с'едал по 5 фунтов в день.

Но судьбе было угодно найти Каранфилова в глухой степи и призвать на военную службу. На сборном пункте наш чабан особенно выделялся своим ростом и непомерной толщиной, которая требовалась флоту, и он был призван на военно-морскую службу. Его стали учить грамоте, назначили в учебную команду, и наш «герой» начал делать карьеру. Было у него много отрицательных сторон, но зато была одна положительная—это то, что у Каранфилова был 10-фунтовый кулак, от которого валилась самая стойкая голова выносливого матроса. Не говоря уже о том, что был он трехаршинного роста и весил около 8 пудов.

Боцманы-«истребители» не удовлетворялись мордошлепством, они преследовали всякую крамольную мысль и старались шепнуть на ушко, кому следует, про тех, кто умеет читать и понимать запрещенные листки...

На крейсере «Очаков» работало много рабочих, среди которых политическая жизнь была оживленней, благодаря рабочим Путиловского и Сормовских заводов. Жизнь постепенно входила в революционную колею.

Но и тут жестокая судьба не избавила крейсер «Очаков» от боцмана-«истребителя».

Каранфилов был назначен старшим боцманом на крейсер «Очаков» в начале 1904 г.

В этом же году было перемещение и главных командиров Черноморского флота и портов Черного моря.

Вице-адмирала Скрыдлова заменил Чухнин.

Матросы хохлы говорили про него:—А теперь вон нас почухае... даже и там, дэ ны свырбыть, скризь будэ чухать... Мы знаемо ин вии чухав мотросив в Балтийском море.

Злой, неумолимый рок послал нам будущего палача Черноморского флота—Чухнина.

И этот боцман-мордошлеп, «истребитель» в адмиральских чинах, став у руля Черноморского флота, повернул руль до отказа вправо и начал плотно прикрывать крышкой бродившие революционные дрожжи, щедро награждая командиров гауптвахтами, а матросов—пловучими тюрьмами и дисциплинарными батальонами.

С этого момента моряки Черноморского флота перестали слышать приветствие: «Здорово, славные черноморцы»... Матросы встречали с его стороны высокомерное, какое-то брезгливое отношение. Чухнин произносил как-то неохотно, сквозь зубы: «Здаооо»... Другого обращения матросы и не ждали, как «Зда...о...о».

Я писал своему «учителю Петру»:

«Я и мои единомышленники, мы задыхаемся от зловонных испарений, исходящих из главной шестерни Черноморского флота, жизнь для матроса становится невозможной; каждый день, каждый час гиря тяжести вешается на грудь моряка... Дезертирства усилились, соблазн велик... Несколько процентов моряков списываются в армию, боцманы свирепствуют во-всю. Военно-морской суд начал регулярно функционировать. Многие матросы уже намечены к расстрелу и каторге».

«Красный лейтенант» мне ответил:

«Все репрессивные меры ведут нас к намеченной нами цели... Жестокий консерватизм способствовал западным революциям. Всякое дезертирство в такой момент, как начало русско-японской войны, считается непростительным позором. Нужен общий протест против войны, а не дезертирство...».

Помню первый смотр главного командира Чухнина.

Был смотр всем войскам Черноморского флота, матросы должны были проходить церемониальным маршем, и этот парадный церемониал так был изуродован, так были исковерканы все колонны и взводы, что нам самим было стыдно за себя, точно мы не имели представления о строевой службе.

Матросы, не сговариваясь, сошлись на одной мысли—пройти не по одной линии, как это мы должны были делать, а зигзагами, сбивая с ног друг друга. Это был вид молчаливого протеста.

Видимо, Чухнину главный смотр не понравился. «Славных черноморцев» уже не было, а была какая-то неорганизованная масса.

На пренебрежительное «Здороо!..» матросы ответили каким-то гусиным клокотанием.

После осмотра на «Счастливо оставаться!» матросы ответили гробовым молчанием. Это окончательно взбесило Чухнина и озадачило командиров. Каждый матрос считал своим долгом выразить молчаливый протест и думал про себя: «Я не отвечу, пусть другой отвечает», и получилось то, что из нескольких тысяч матросов прорвались несколько голосов, и те не были слышны, растворившись в многотысячной толпе. Это был первый молчаливый протест, ибо у матросов не умирало то чувство мести, которого заслуживал Чухнин. Будучи капитаном I ранга, Чухнин за самые пустячные проступки наказывал матросов, вешал их на концах рей, и те висели на поясах по нескольку часов.

Матросы уже не поднимали высоко и гордо головы, не расправляли свои широкие груди и не смотрели сильным, бесстрашным

взглядом, а выходили редко на берег, обычно с поникшей головой, и думали свои грустные думы. Они смотрели какими-то приниженными и угнетенными, забивались в различные пьяные притоны на окраинах военного города, боясь показаться на улицах, чтобы не попасться на свинцовые очи Чухнина.

Матросов уже не было видно на Приморском бульваре. Туда не стало доступа матросам: у ворот стояли патрули, и были вывешены черные доски с надписью большими белыми буквами: «Строго воспрещается собак вводить и матросам ходить»... И матросы возвращались с поникшей головой в экипажи и на корабли и думали: «За что же такое позорное клеймо наложила злая беспощадная судьба? За что же такое беспримерное гонение на тех, кто должен иметь хотя маленькое право, как защитник родины, а сравнен с собакой, с животным?».

Моряки видели, как каждый день происходят обыски, аресты, переполнялись пловучие тюрьмы, арестные дома, дисциплинарные батальоны и каторжные работы на большие сроки, и матросы стали все чаще уходить на Малахов курган, Херсонесский монастырь, в катакомбы и Инкерманские пещеры, где уже явно велась агитация против жестокого угнетающего времени Чухнина...

Было постановлено распространять как можно больше литературы.

Каждое утро экипажные дворы переполнялись прокламациями, и матросы, поднявшись с постели и идя на различные работы, читали «листки»; каждый про себя думал, что написано верно, что нужно протестовать против жестокого насилия над личностью матроса-гражданина, и опять уходили в горы и там толковали как нужно выразить протест.

Но око сыщика не дремало,—арестовывались матросы и в горах...

Наконец, последовало распоряжение о прекращении выдачи пропусков матросам по своим личным делам. Было приказано запереть ворота на крепкие железные запоры, держать матросов в экипажах и дальше внутреннего двора не позволять выходить, а отпущенных по делам службы обыскивать при возвращении в экипаж и на броненосец,—нет ли у них прокламаций.

Но прокламации продолжали наполнять экипажные дворы и экипажи. Были и такие случаи, что прокламации провозились в мясных тушах с бойни.

Все это делали молча, без разговора, тихонько и аккуратно.

«Истребители крамолы» совершенно были сбиты с толку, ищейки потеряли голову... Чухнинская охранка дошла до неистовства.

Помню один из знаменательных случаев: была пущена «утка», что прокламации фабрикуются в общежитии г.г. офицеров при экипажах.

Опять обыски, и опять истребители-боцманы и ищейки действуют во-всю.

Достаточно было пустить слух, что типография находится в кабинете экипажного командира, чтобы произвести обыск.

«Утка» матросов тоже не спала; она старалась указывать на фабрикацию листовок «истребителями крамолы» и экипажными командирами, которые сами были ближайшими сотрудниками чухнинской охранки, и которых матросы не переваривали всеми фибрами души.

Получаемые и отправляемые матросами письма на родину внимательно просматривались ротными командирами, т. к. был приказ строго следить за письмами нижних чинов, обращать особенное внимание на штемпеля и завести регистрационную книгу при экипаже для записи сомнительных писем.

Письма долго задерживались у ротных жандармов, проходя всевозможные цензурные мытарства, начиная с командира и кончая фельдфебелем. Мы уже не смущались тем, что наши письма напоминали письма арестантов, где тюрьма ставит свое: «просмотрено». Не особенно возмущались и приказами Чухнина; мы уже привыкли ко всем ударам сурового времени. Терпеливо ждали чего-то и однажды молча, без политических лозунгов, выразили свой протест, протест угнетенной души против насилия над свободным духом, против того, что душило свободную мысль моряка.

Протест был выражен молча, без слов, каждый матрос чувствовал в душе, что нужно что-то сделать, и какой-то таинственный голос шептал ему на ухо: «Ты должен протестовать против того насилия, которое угнетает тебя; протестуй, как можешь, но протестуй...» Матросы подчинились таинственному голосу и выразили протест без слов.

Они молчаливо били экипажную обстановку: столы, кровати, шкафы, пирамиды, кортики, портреты различных ранговых карьеристов; все, что попадалось под руку, поднималось и билось о цементный пол... Разрушалось без жалости, без пощады, как-будто этим разрушением наносился самый меткий, самый большой удар Чухнину.

Этот молчаливый стихийный протест прошел ураганом по всем экипажам, а особенно по 31 и 32 ф. э. 6 октября 1904 года.

Железные, прочные кровати были сломаны, изуродованы, согнуты до неузнаваемости и смешаны с деревянными обломками столов, шкафов, рам, стекол, парусины, разорванных картин. Все это валялось среди экипажа и частью выброшено за окно во двор. Оконные рамы были вырваны и выброшены за окна,—не уцелело даже и паровое отопление: 5-дюймовые трубы были порваны, согнуты и выброшены вместе с колосниками. Водопроводные трубы в умывальниках и умывальники превратились в какую-то бесформенную массу меди, и вода заливала экипажи. Все плавало в воде, за исключением сундуков с матросскими вещами, которые были сохранены.

Для подавления молчаливого протеста, именно «молчаливого», так как не было произнесено ни одного крика, ни одного звука,— лишь какой-то был рокочущий гул, похожий на отдаленный гром,— были вызваны полки: Брест-Литовский и Белостокский с многими пулеметами и винтовками, под командой знаменитого впоследствии временщика Думбадзе. Они оцепили экипажи, и начался пулеметный обстрел со всех сторон.

Как ни старались матросы прятаться за колоннами, стенами и ложиться под окна внутри здания,—без жертв не обошлось: пули проникали в двери, окна, свистали и жужжали по экипажу, впиваясь в штукатурку, и искали жертв; были убитые и раненые—их увезли в госпитали.

Стихия была ликвидирована.

Вслед за этим последовали опять жестокие расстрелы Чухнина. Военно-морской суд переодевал моряков из матросского форменного платья в арестантские халаты. Георгиевская желтая лента заменялась желтым бубновым тузом—«эмблемой каторжанина».

Главным жестоким наказанием для матроса, хуже которого ничего не было,—было то, что матросов опять начали списывать в армию, как позорных и порочных моряков, недостойных службы во флоте. Это тяжело отражалось на матросах. Многие старались оскорблять своих начальников, чтобы попасть под суд, но не итти в армию.

После об'явления русско-японской войны военно-морской организацией было постановлено протестовать против войны, и тут же были разбросаны прокламации с мотивированным протестом против войны и с призывом к вооруженному восстанию.

Мною была получена коротенькая записка от моего обожаемого «учителя Петра», переданная нарочным без подписи.

...«Жестокая реакция Чухнина сделала большой успех в задуманном плане; ты не сокрушайся. Все, что делает жестокость—это лишний шаг, способствующий революционному движению и показывающий ее бессилие... Терпи и будь верен своему другу. .»

Да, велико было терпение! Но чаша терпения была переполнена через край.

Молчаливые протесты были слабы. Нужно было сильное и организованное сопротивление, и такое оказал броненосец «Князь Потемкин-Таврический».

VI.

Броненосец «Князь Потемкин-Таврический» вышел из Севастополя в воскресенье, 12 июля 1905 г., под командой капитана I ранга Голикова в Тендровский залив для производства опытной стрельбы, вместе с состоявшим при нем миноносцем № 267, под командой лейтенанта Клод-фон-Юнгерсбурга.

Во вторник, 14 июня, команда «Потемкина», убедившись в недоброкачественности провизии, привезенной из Одессы миноносцем, отказалась от борща. По распоряжению командира Голикова команда была собрана на шканцах, где старший офицер, капитан II ранга Гиляровский, приказал выступить перед фронтом тем, кто не отказывается от принятия пищи, т.-е. не участвует в протесте, выраженном в такой резкой форме.

Когда же перед фронтом выступило большинство команды, то старший офицер стал записывать недовольных, составляющих меньшинство. Воспользовавшись этой минутой, последние схватили из пирамид винтовки и стали заряжать имевшимися у них патронами. Приказание—стрелять в бунтовщиков, сделанное караулу старшим офицером,—было не исполнено, и старший офицер, выхватив у ближайшего караульного винтовку, два раза выстрелил в одного из матросов и убил его. Команда, возмущенная жестокостью старшего офицера Гиляровского, стала в оппозицию. Боцман Матюшенко выступил вперед и, выстрелив из винтовки, убил Гиляровского, а затем команда стала стрелять залпами по офицерам, отыскивая спрятавшихся. Некоторые офицеры были убиты командой, а некоторые, спасаясь, бросились за борт, но их и здесь нашла карающая рука матроса.

От мести матросов погибли: командир Голиков, старший офицер Гиляровский, лейтенанты: Неупокоев и Тон, мичман Григорьев, прапорщик Ливенцев и доктор Смирнов.

Активное участие в терроре принимал матрос боцманмат Матюшенко, впоследствии повешенный в г. Николаеве в 1907 г.[1].

На броненосце составился комитет из 20 матросов[2], принявших на себя команду «Потемкиным», и было решено итти в Одессу на рейд, куда и прибыли вечером 14 июня, а утром от борта отвалила шлюпка с трупом матроса, убитого Гиляровским. Покойника сопровождали матросы, и он был положен на молу с пришпиленной на груди запиской, гласившей: «Вакулинчук был убит старшим офицером невинно за высказанное им неудовольствие пищей. За это все офицеры убиты командой, и с броненосца ответят орудием, если со стороны начальства порта сделаны будут попытки убрать труп или приблизиться к нему[3].

---

[1] Минно-машинный квартирмейстер Афанасий Матюшенко присужден военно-морским судом Севастопольского порта 17 октября 1907 года к смертной казни через повешение. Контр-адмиралом Виреном приговор этот был утвержден, несмотря на указ 21 октября 1905 г., 7-й пункт которого заменял смертную казнь 15-летней каторгой за преступления, совершенные до 17 октября 1905 года. Придравшись к его воззванию к офицерам, посланному в единственном экземпляре из Бухареста штабс-капитану Данилову, А. Н. Матюшенко повесили. *Ред.*

[2] Комитет состоял из 24 человек. См. д. № 3769—1905 г. д-та полиции 7-го делопроизводства. *Ред.*

[3] Вот точное содержание записки: «Господа Одесситы, перед вами лежит тело зверски убитого матроса Григория Вакулинчука, убитого стар-

К месту, где положен был покойник, стали собираться из города десятки тысяч рабочих, и в возбужденной массе все более и более росло возмущение, и в тот же момент были свезены на берег офицеры оставшиеся в живых [1].

В Одессе «Князь Потемкин-Таврический» захватил два парохода с углем, который и был матросами погружен на броненосец при содействии рабочих порта [2].

В то же время «Потемкин» выпустил воззвание с призывом прекратить работу в порту и на фабриках.

В то время власть была передана командующему войсками военного округа, но меры к усмирению забастовок не были приняты, рабочие бастовали и, если бы власть прибегла к усмирению бастующих, город и войска подверглись бы анфиладному огню со стороны броненосца; таким образом, порт был во власти рабочих и моряков.

В 7 часов вечера 16 июня броненосец «Потемкин» отошел от места своей первоначальной стоянки. При погребении матроса Вакулинчука сделано было три холостых выстрела, как полагается по морскому уставу. Двумя боевыми выстрелами была разрушена крыша одного из домов; несчастья с людьми не было [3].

На другой день, 17 июня, в 6 часов утра черноморская эскадра под флагом старшего флагмана, вице-адмирала Кригера, и младшего контр-адмирала Вишневецкого, в составе 6 линейных броненосцев и 5 эскадренных миноносцев подошла к Одессе [4].

Названная эскадра в строй фронта не вошла, а пошла по направлению к Одесскому молу, а броненосец «Потемкин» вышел навстречу эскадре в полной готовности к бою. Когда «Потемкин» прорезал строй, поравнявшись с броненосцем «Георгий Победоносец», на последнем была устроена матросами овация «Потемкину», и, когда вслед за этим эскадра по сигналу адмирала повернула на обратный курс, команда «Георгия» бросилась на мостик и не позволила управлять судном.

шим офицером эскадренного броненосца «Князь Потемкин-Таврический» за то, что Вакулинчук заявил, что «борщ не годится». Осеним себя крестным знамением и скажем: «Мир праху его». Отомстим кровожадным вампирам. Смерть угнетателям! Смерть кровопийцам! Да здравствует свобода!

Команда эскадр. броненосца «Князь Потемкин-Таврический».

Один за всех,—все за одного». *Ред.*

[1] Офицеры были свезены на берег утром 16 июня. *Ред.*

[2] Представитель двух греческих пароходов явился на «Потемкин» и добровольно предложил уголь с условием вывести пароходы, стоящие без паров и прислуги, из опасного места; 15 вечером загорелся порт, и пожар быстро распространялся. Комитет «Потемкина» принял предложение—пароходы были выведены и уголь погружен на «Потемкина». *Ред.*

[3] Бомбардировка была вызвана слухом, что накануне казаки убили несколько сот человек рабочих. *Ред.*

[4] Эскадра состояла из пяти броненосцев, одного минного крейсера и шести контр-миноносцев. *Ред.*

Вслед за этим на «Георгии Победоносце» была спущена шлюпка, на которой командир и все офицеры, кроме лейтенанта Григорьева, который застрелился, обезоруженные были доставлены на берег.

Для управления броненосцем «Георгий Победоносец» был составлен комитет из 20 человек, однако, среди команды «Георгия» происходили несогласия. Большинство команды подчинило себе меньшинство, и «Георгий Победоносец» ушел от «Потемкина» в Одесский порт; а «Потемкин» ушел в море в западном направлении.

Командою «Георгия Победоносца» была послана делегация командующему войсками с из'явлением покорности и с просьбой о возвращении на судно офицерского состава.

19 июня генерал-от-кавалерии Коханов «имел счастье всеподданнейше донести его императорскому величеству, что команда «Георгия Победоносца» выражает полное раскаяние в дерзновенном содеянии, возлагает свое упование на монаршую милость, при этом команда выдала 67 человек, как более виновных, принесла присягу со слезами на глазах о раскаянии...».

После этого командир и офицеры «Георгия Победоносца» вступили в исполнение своих обязанностей.

На имя морского министра старшим флагманом, вице-адмиралом Кригером, была послана следующая телеграмма:

«На транспорте «Прут» по выходе из Тендры взбунтовалась команда, которая арестовала офицеров и командира, убив подпрапорщика Нестерцова и боцмана Козлятина; «Прут» прибыл в Севастополь, команда раскаялась и, выпустив командира и офицеров, просила принять над ними командование; виновные подвергаются наказанию».

«Князь Потемкин-Таврический» терроризировал все крымское и кавказское побережья и направился в Румынию, чтобы добыть с'естные припасы и уголь; 19 июня «Потемкин» вместе с миноносцем № 267 прибыл в румынский порт Констанцу. В половине дня румынскими властями был замечен большой броненосец, на котором развевался красный флаг. Быстро распространилось известие, что этот броненосец—то судно русского флота, о котором говорила вся Европа. Броненосец поднял сигнал, что он ищет защиты в румынских водах. Командир порта тотчас же направился на корабль и был встречен соответствующим салютом. Экипажи «Потемкина» и миноносца об'явили себя инсургентами и просили у Румынии провизии и угля.

В этой просьбе инсургентам было отказано. Румынские власти об'явили инсургентам, что, если они хотят, чтобы их признали дезертирами и не выдали России, то они должны покинуть судно и сдать Румынии броненосец «Потемкин» и миноносец в полном вооружении.

«Потемкин» не согласился на предложенные условия и в тот же день снялся с якоря и ушел по направлению к крымско-кавказскому побережью.

«Потемкин» подошел к Феодосии, и беззащитному городу пришлось переживать несколько часов отчаянной тревоги, благодаря грозному визиту или «красному визитеру», как потом говорили.

С «грозного визитера» был спущен катер с двумя депутатами; депутаты прибыли на пристань, об'явили цель своего прибытия и потребовали представителей города для переговоров.

Городские представители с'ездили на «Потемкин», где революционный комитет предложил им немедленно доставить провизию, уголь и пресную воду.

На доставку всего этого «Потемкин» дал одни сутки, предупредив представителей города, что если в указанный срок не будет представлено требуемое, то «Потемкин» подвергнет город бомбардировке.

Городские представители из'явили согласие на поставку провианта, и город уже начал снабжение, но по требованию местных властей поставка была прекращена.

Тогда жители города Феодосии, боясь бомбардировки, стали бежать из города. Вагоны железных дорог брались с боя, за подводы платили бешеные деньги, многие обыватели бежали пешком в ближайшие горы и деревни. Наступила неслыханная, невероятная паника. Город был об'явлен на военном положении.

Не желая подвергать город разрушению, в 9 часов утра «Потемкин» прислал катер с 12 матросами под защитой миноносца № 267 и хотел взять силой на буксир баржу с углем, но береговые войска открыли огонь по матросам, и несколько матросов было убито.

Наступила страшная минута, которую жители Феодосии не забудут до конца своей жизни. Катер и миноносец, обстреленные береговой командой, пристали к борту «Потемкина».

Наступила торжественная тишина, и в этой тишине на мачте «Потемкина» грозно взвился боевой флаг!..

В то же время на броненосце началась спешная уборка катеров, шлюпок, снастей. «Приготовиться по-боевому!..»—была команда Матюшенко, и еще одно мгновение, и бортовые люки открылись и зазияли своими страшными отверстиями, а длинные дальнобойные орудия вылезли из своих бронированных пещер и протянули грозные стволы левого борта и носовой башни по направлению города.

Казалось, что бомбардировка неизбежна, но ее не последовало. «Не нужно невинной крови»,—кричала команда пылкому Матюшенко, и он остановил готовые нажаться ударники.

В 2 часа «Потемкин» убрал страшные грозные дула, заставившие трепетать всю жандармскую и бюрократическую Россию, и ушел в море.

Благоразумные революционеры-матросы не хотели подвергать разрушению жилища мирных обывателей беззащитного города.

Много страху натерпелись в ожидании «грозного визитера-скитальца» Новороссийск, Сухум, Батум, Поти и другие города и местечки, но к их благополучию «скиталец» больше не решался испытывать храбрость обывателей, вернулся обратно в Румынию и сдался на предложенные ему во время их первого визита в Констанцу условия.

Это произошло 25 июня. Матросы-революционеры передали румынским властям «Потемкина», а сами высадились на сушу. Матросов было 710 человек; они были направлены в различные места Румынии. Миноносец же не сдался: он заявил, что следовал за «Потемкиным» лишь потому, что вынужден был подчиняться его силе и что хочет вернуться на родину. И, действительно, в тот же день ушел в Севастополь.

«Потемкин» вошел в гавань с громкими криками «ура!», а румынская власть немедленно вступила в переговоры с командой «Потемкина». Ей было дано 12 часов для того, чтобы сдаться. Румынские власти требовали разоружения броненосца, экипажа и снятия замков с орудий.

В час дня депутация русских «инсургентов» прибыла на румынский крейсер и заявила, что экипаж решил сдать броненосец, если команде будет обеспечена свобода личности, и будет дано обещание, что ее не выдадут русским властям.

В переговорах принимал участие румынский министр-президент Кантакузен. В 2 часа дня состоялась передача «Потемкина» румынской власти. На броненосце был поднят румынский флаг, и румынские офицеры приняли инвентарь.

Во время переговоров многие из команды дезертировали.

После капитуляции «Потемкин» вошел в гавань. Когда румынские власти приказали поднять на броненосце румынский флаг, русские матросы восстали против этого, просили оставить их национальный флаг, говоря, что им, как патриотам, тяжело расстаться с ним.

В конце концов их уверили, что на основании международного права иначе поступить нельзя.

Тотчас же в Петербург была послана телеграмма с подробностями сдачи. Одновременно министр иностранных дел известил графа Ламздорфа, что броненосец находится в распоряжении русского правительства.

Почти следом за «Потемкиным» в Констанцу 26 июня прибыла русская черноморская эскадра, которая без успеха старалась поймать «грозного скитальца» и принудить его к покорности. Как известно, это не удалось ни посланному с этой целью миноносцу «Стремительный», ни целой эскадре Черноморского флота под командой адмиралов Кригера и Вишневецкого.

Немедленно, по прибытии эскадры в Румынию, командующий румынским флотом посетил русского контр-адмирала и об'явил, что «Потемкин» сдался румынским властям, что он вступил на судно для охраны и поднял румынский флаг, при этом добавил, что румынский король приказал сдать броненосец Николаю II.

После этого состоялась обратная передача «Потемкина» русскому флоту.

Румынский флаг был заменен русским; «Потемкин» оказался в неисправности и самостоятельно итти не мог, а был взят на буксир броненосцем «Синоп», на котором развевался адмиральский флаг, и 29 июня приведен в Севастополь. «Открытый протест славных черноморских революционеров был выражен громко на всю Европу, на весь земной шар».

Этими словами закончил свой рассказ главный руководитель восставшего «Потемкина», матрос Матюшенко, с которым мне пришлось встретиться в Цюрихе после моего побега с каторги в 1907 году.

«Жаль, что мало было сознательных матросов,—говорил Матюшенко,—полнейшая неорганизованность; это случилось так неожиданно для всех нас, что мы совершенно потеряли голову, что нужно предпринимать. Единственно хорошо то, что был во-время убит тот исполинский червь, который пожирал команду—этот старший офицер Гиляровский. Этот червяк был вторым после Чухнина. Что касается тех червей, которые были в мясе и пище, т.-е. тех, которые мы, матросы, ели в Черноморском флоте, то это были второстепенные червяки, а главные черви это те, которые ели целыми сотнями матросов. Вот что побудило меня раздавить этого жирного червяка Гиляровского. Я учитывал, что, если бы я не убил «червя», то офицеры перестреляли бы всех оставшихся недовольными пищей, а нас было около 215 человек; мы должны были подвергнуться той же участи, которой подвергся Вакулинчук, один из самых спокойных матросов, который был равнодушен ко всему, не говоря уже о том, что он был далеко не сознательный матрос, а, наоборот, даже любил начальство; что касается нас, уже замеченных, то смерть была бы неизбежна. Так пусть же моя меткая пуля послужит явным открытым протестом против насилия над личностью матроса; пусть она будет ярким примером для будущих матросов, угнетенных и порабощенных»...

Матюшенко замолк и погрузился в свои мрачные думы. Он собирался уехать в Америку, что, кажется, и сделал, а затем в скорости вернулся. Это была мятущаяся душа, которая нашла свой вечный покой на одной из сотни тысяч виселиц жандармской России.

Удовлетворенный рассказом участника и главного руководителя восстания «Князя Потемкина Таврического», я прижал к груди клочки бумаги, испещренные записями его рассказа, долго еще читал и

исправлял неточные заметки при помощи того же Матюшенко, который удивлялся, зачем мне нужны эти точности.

Но я старался сохранить заметки, которые мне теперь и послужили историческим материалом.

Я буду спокоен, что зафиксировал рассказ славного, смелого матроса Черноморского флота т. Матюшенко, показавшего дорогу к будущему.

Спит он вечным сном, вечно мятущаяся душа. Вечная слава тебе!

VII.

Из броненосцев Черноморского флота сильнейшим и наиболее быстроходным по тому времени был «Князь Потемкин-Таврический». Его переименовали в «Пантелеймона», как недостойного преступного революционера. Назвали его именем святого «Пантелеймона». И с именем святого «Пантелеймона» он остался в назидание врагам, жестоким палачам Чухниным.

Как жаль, что броненосцем не командовал «Красный лейтенант», он бы не был сдан на капитуляцию лупоглазой Румынии.

Да, «Красного лейтенанта» нет; он в дальнем плавании.

В начале 1904 года «Красный лейтенант» был призван из запаса флота и переведен в Балтийский флот. 8 месяцев был в Либаве, а затем был назначен в эскадру Рождественского и отправлен на Дальний Восток.

После возвращения «Потемкина» в Севастополь, началась самая жестокая, самая ужасная реакция; расстреливались матросы по суду и без суда и следствия.

Началось военно-морское следствие по делу «Потемкина», «Георгия Победоносца» и минного транспорта «Прут».

Жестокость Чухнина и его «истребителей» дошла до чудовищных размеров. Только и слышно было: расстреляны матросы в Инкерманском, в Херсонесском монастыре и Камышевой бухте. Все эти расстрелы были без суда.

В конце концов военно-морской суд разбирал дело матросов «Прута», между тем, как «прутовцам» обещал Чухнин не возбуждать дела. Дело возбуждено; «прутовцы» были приговорены к бессрочной и 20-летней каторге, в арестантские роты, а четырех человек приговорили к смертной казни: Петрова, Черного, Титова и Бондаренко.

Приговоренные были казнены на Северной стороне в Константиновской батарее; не позаботились о гробах, могилах, а трупы бросили просто в какие-то сорные открытые ящики и потащили их через всю Северную сторону на Михайловское кладбище, оставляя по дороге следы крови.

После всех этих кошмарных ужасов не хотелось думать о завтрашнем дне, а только о сегодняшнем часе; мы не знали, что нас ждет через час.

Все эти кошмары висели черной тучей над головами черноморских моряков. Казалось, что есть где-то грозная защита, но где она? Где ее искать? И таинственный голос опять шептал нам: «Ищите защиту в самих себе!»... И матросы ждали и жили надеждой и пылким революционным духом...

А к этому описанному нами времени вернулся в Черноморский флот «Красный лейтенант». Сама судьба сберегла П. Шмидта.

В Порт-Саиде он серьезно заболел, был списан из состава экипажа и больной вернулся в Севастополь, где вскоре был назначен на миноносец. Вот здесь я вторично встретился со своим «учителем Петром» и больше не расставался до самого острова Березани...

Назначение на миноносец было равносильно оскорблению для опытного моряка, но «Красный лейтенант» не смущался. Хотя его я уже видел не тем «морским повелителем», каким он был раньше в Добровольном флоте, а особенно, когда он был помощником командира на пароходе «Орел»; он очень похудел, был задумчивее, чем прежде, очень волновался военными приговорами над «прутовцами», очень жалел, что он не был в России во время восстания «Потемкина».

Помню один из нескольких часов, на которые я заходил к «учителю Петру» под самой строгой конспирацией; он был осторожен сам и был осторожен по отношению к нам. Многие из нас бывали у «Красного лейтенанта» и редко встречались друг с другом, если мы не были знакомы по партии.

Помню, я задал вопрос:

— Петр Петрович! Неужели вы опять оставите Черноморский флот? Неужели вы опять вернетесь в торговый флот?

— Нет, мой друг. Я не оставлю таких славных матросов, как черноморцы. Я очень жалею, что к ним жестока судьба, и как ни преждевременно говорить о сознательности и организованности, но я скажу: я питаю глубокую веру, что нам скоро представится возможность осуществить заранее известный тебе план... Война с Японией приподняла завесу, закрывавшую до сего времени из'яны бюрократического хозяйства. Правительство делало, что хотело, не спрашивая у народа, и никакого отчета никому не давало. Тратило сотни миллионов народных денег на флот и армию, а на Дальнем Востоке наши корабли оказались старыми галошами, а армия—босой и голодной...

«Красный лейтенант» порывисто оборвал на слове «голодной»., молча ходил взад и вперед по комнате, зачесывая руками свои густые волосы.

Затем тихо и как бы в раздумье он спросил меня, не смотря мне в лицо:

— Когда будет готов к плаванию твой любимый крейсер I ранга «Очаков»?

Я ответил, что самое большее—через месяц мы выйдем в плавание, будем принимать от Сормовского завода быстроходные машины, а от Путиловского—орудия; мы должны выходить в море для проб и начнем кампанию.

— Как протекала политическая работа среди матросов?—вторично задал вопрос «учитель».

— Работа происходила при самых нормальных условиях; команда крейсера «Очаков» работала с сознательными рабочими-социалистами различных заводов и цехов. Из команды «Очакова» арестован наш партийный товарищ М. Волошин. Судьба его нам неизвестна. Но у нас вырван из небольшого строя работников один из активных товарищей; видимо, он уже отправлен на Северную сторону. Льстить себя надеждой и обманывать себя я не имею нравственного права и не могу сказать, что команда «Очакова» хорошо подготовлена и сознательна; таковых очень немного, но они способны выступить, когда угодно, таких найдется несколько десятков на всем «Очакове»; на всех же остальных кораблях, как я узнал из отчета товарищей, найдется максимум 1.000 человек сознательных матросов.

— Как ты находишь усовершенствование крейсера «Очаков»?

— По мнению судостроительных инженеров-специалистов, по самой высокой технике современности, или, как говорили специалисты: «Очаков»—одна из усовершенствованных новинок судостроительного искусства... «красота всего русского флота»—особенно славился конструкцией корпуса, и своими мощными машинами, делающими 25 узлов в час. Несомненно, что он стоит около восьми миллионов.

— Да,—заметил учитель,—он и обкрадывался по самому усовершенствованному способу мошеннической техники, начиная с главного командира и кончая машинистом-содержателем, и эта усовершенствованная техника воров и мошенников довела «Очаков» до стоимости 8.000.000 рублей, в то время, когда Англия строит усовершенствованные дредноуты по 3.000.000, как это видно из отчета судостроительной фирмы в Англии.

— По мнению приемных комиссий «Очакова», постройка закончена самым добросовестным образом,—несмело заметил я.

— Кто же назначен командиром на «Очаков»?—как будто экзаменовал меня «Красный лейтенант».

— Командиром пока назначен капитан I ранга Овод,—ответил я.

— А, эта невинная старость, носящая «мушиную фамилию»?

— Но ходят упорные слухи, что нам назначат командиром капитана I ранга Глизьян,—ответил я.

— Рыцарь зеленых полей на международном карточном и биллиардном поле, но не командир на синих волнах великих морей и даже Черноморья,—шутя заметил «Красный лейтенант».

— Да, мой верный друг, быть командиром на крейсере «Очаков», это—высшая награда неба...—восхищенно продолжал учитель.

Мы простились до следующего раза; на перевод меня подшкипером на миноноску под его команду он не согласился, сказав, что я и так на своем месте. Я вернулся на «Очаков», строго тая тайну нашего разговора.

Видимо, сама судьба была непредусмотрительна и несправедлива к капитану I ранга Оводу, что дала ему мушиную фамилию. Командир «Очакова» Овод ничуть не напоминал жужливую и надоедливую муху, а наоборот, он больше напоминал трусливую мирную бабочку, которая занята своим излюбленным дельцем усесться тихонько на какой-либо цветок с вкусными соками и сосать его, а после пищи выспаться на цветке и опять сосать. Пусть будет не в упрек сказано нашему командиру, любил, грешник, хорошо и плотно покушать и настолько увлекался аппетитными кушаньями, что его не беспокоили никакие тревоги на палубе, где необходимо присутствие командира. Овод не жужжал, а мирно как-то, сонно и лениво продолжал еду.

Командир Овод, видимо, довольный таким лестным назначением, как быть командиром на усовершенствованном крейсере «Очаков», успокоился, и, засев в своей кают-компании, лениво двигался с постели к столу, а еще ленивее—от обеда к постели.

Единственное занятие таких командиров: обжорство и пьянство на корабле, дон-жуанство по Нахимовской, споры о кастовом происхождении в Морском собрании, где каждый маменькин шалопай громко кричал, что он потомственный дворянин, крупный помещик и с княжеским гербом (это они щеголяли перед офицерами—личными дворянами). Так проходила блестящая жизнь потомственных древних дворян.

Но наш герой не вдавался в защиту своего кастового происхождения. Он чувствовал, что его карьера была создана разными протекциями, и, если он носил мундир капитана I ранга, то он также сознавал, что это по какому-то недоразумению, ибо он знал, что у него нет заслуг, за исключением дряхлой старости, долго стоявшей на очереди на первый ранг.

Овод был очень мирного, тихого характера; думаю, что он был дегенератом. Он был безобиден, безвреден и совершенно бесполезен. Его полутороаршинный рост, чрезмерная толщина, флегматичный вид—мешали ему думать о самых пустяках, не говоря уже о вопросах улучшения русского флота. Дальше кают-компании и шканцев при спуске флага он не выходил и, если выходил, то с большим опозданием.

Были случаи экстраординарные, когда он должен был подниматься на мостик, чтобы принимать приказы старшего флагмана. Это было для него событием: он пыхтел, кряхтел, сопел, как кузнечный мех, старался облокотиться на поршень, томительно ждал распоряжения старшего флагмана или главного командира Чухнина.

Точно так же лениво относился он к корабельным священным обрядам, спуску флага «на молитву».

Как только подавалась команда «накройсь», он пыхтел, отдувался, лениво плелся в кают-компанию, благодарил кивком головы офицера, помогшего ему добраться до его каюты, машинально нажимал кнопку; при входе вестового жестом руки говорил: «подавай!», если не было приготовлено, и продолжал свое излюбленное обжорство.

Команда была довольна «сонным командиром», как его прозвали.

«Сонный командир» сонно ходил, сонно ел, сонно пил и сонно спал. Он не интересовался политикой, и даже его не беспокоило великое событие—война с Японией.

Он верил, что его на войну не пошлют вследствие неспособности и был спокоен.

Правда, даже на Овода подействовали события на «Потемкине»; когда он узнал, что команда убила командира и офицеров, то он как-то остолбенел и открыл маленькие глазки, казавшиеся бесцветными и безобидными, испуганно смотрел и, еще больше отдуваясь, говорил: «Боже мой, какой ужас!.. Может ли это быть?..».

Он не допускал мысли, чтобы матросы могли убить своего командира.

Ему казалось, что до этого не допустит сам бог... Но когда его подробно познакомили с событиями на «Потемкине», то он испуганно присел на угол стола, на который с трудом взобрался, с испугу еще больше сомкнул свои сонные глазки и целиком ушел в себя...

Он был сильно возмущен приказами Чухнина и его дикой муштрой, с ежедневным устройством всевозможных практических тревог: боевых, минных, пожарных, подводных, а, самое главное, так это тем, что команду приходилось переодевать 3—4 раза в день. Сигналы: «Переодевать: черные брюки, белая форменка». «Белые брюки и суконные фланельки», или «Все белое», или «Все черное»... Эти сигналы положительно переворачивали сонный мир нашего командира.

Приказы эти распространялись на всех одинаково, как на команду, так и на командный состав: Переодевание должно было продолжаться не более трех минут. При всем искреннем желании наш командир этого сделать не мог. Он больше сидел без штанов, обложив себя различными формами платья, и ожидал, нет ли сигнала «переодеться команде»... А, ведь, командир должен переодеться первым и, став на мостике, принимать команду старшего флагмана Кригера.

Но Овода спасал благодатный случай. Его всюду заменял старший офицер. Вот уже поистине верная русская пословица: «дуракам в жизни везет...».

Так везло и нашему герою.

На крейсер «Очаков» был назначен старшим офицером капитан 2 ранга Соколовский; эта птичья хищная фамилия вполне к нему подходила.

Соколовский, или «Сокол», как его называли, был как-раз противоположная натура командиру Оводу.

Ниже среднего роста, пропорционально сложен, с высоким лбом, умными серыми глазами, живой, юркий и чрезмерно подвижной, по натуре добрый человек, он был настоящим хозяином крейсера «Очаков».

С раннего утра, когда еще команда спит, и до поздней ночи, когда команда ложилась, «Сокол» бегал по палубам и по мостикам, суетился и покрикивал на матросов, а больше на боцманов, пушил и разносил.

«Сокола» команда любила, хотя он ругался «семипалубным», как свойственно ругаться каждому моряку, добавляя в конце:«Чортова перешница»... и на этом заканчивалось распоряжение «старшего».

«Сокол» не применял к матросам дисциплинарного взыскания, все заканчивалось «чортовой перешницей». Матросы не наказывались не только строгим арестом, карцером, трапом, но и не лишались отпуска на берег.

— А, это ты, Волатпуза? Хотел тебя лишить горнично-свидания, да ладно, поезжай—горничная ждет...—делал шутливо замечания старший при увольнении команды на берег.

«Сокол» обладал громадной памятью, он знал всю команду по фамилиям и многих по именам и отчествам; неслыханно было, чтобы матроса назвали по имени и отчеству. Между тем, наш «старший» иногда обращался к матросам и непременно к гальюнщикам:—Ну, Иван Иванович г. Киселев. Как твои гальюны? Смотри, Иван Иванович... Держи мне чисто, просматривай и проветривай...

Так протекала жизнь на славном крейсере «Очакове».

Был приказ Чухнина приемной комиссии: «принять крейсер «Очаков» от судостроительных заводов, выйти в море, испытать машины и орудия».

При испытании и сдаче мощные машины и дальнобойные орудия дали блестящие результаты, и в особенности мощные машины, управляемые сормовскими механиками и монтерами.

При управлении сормовскими механиками «Очаков» дал 22 узла скорости, которая превзошла установленную по договору с Сормовскими заводами.

Но сормовские механики знали, что после сдачи правительству «Очакова» под управлением машиной военными инженер-механиками, крейсер даст максимальную скорость только 15 узлов в час, ибо военные механики не интересовались делом, они были больше заняты главным дельцем—«машинокрадством», чем своей специальностью.

Работавшие сормовские механики видели около себя только матросов-специалистов, которые старались воспользоваться широкими познаниями сормовских механиков и старались использовать их, как могли. Судовые и самостоятельные механики-матросы делились с специалистами Сормовского завода последними чарками, не говоря о многочисленных услугах, какие только можно было сделать.

Военные механики не считали нужным спускаться в машинное отделение, пачкать свои военные белые мундиры, до сдачи машины Кроме того, они, военные инженер-механики русского флота, могут ли работать и обмениваться мнениями по механике с каким-то мастером, присланным каким-то Сормовским заводом?.. Нет! его кастовые традиции не позволят ему пасть до такой степени... Вот почему после сдачи «Очакова» правительству крейсер дал максимальную скорость только 18 узлов.

Так же были сданы и дальнобойные, тяжелые и легкие орудия Путиловским заводом при специалистах и творцах этих ужасных смертоносных орудий.

Помню один из рассказов Гладкова, который имел дерзость сказать военному инженер-механику:

— Ваше высокородие, то, что называете блестящим результатом, то по-сормовски называется—удовлетворительно, блестящих результатов мы больше не увидим, а теперь мы только видим растяжимую удовлетворительность. Блестящие результаты у сормовских мастеровых!..

За такую «смелую дерзость» Гладков, кажется, был наказан инженер-механиком.

— Молчи, не смей разговаривать со своим начальником. Пусть посидит в карцере, мерзавец, да подумает, как нужно отвечать инженер-механику русского флота!..

Так закончилась беседа нижнего чина с морским офицером.

VIII.

После сдачи судостроительными заводами крейсера I ранга «Очаков» был приказ:

«Приготовь крейсер «Очаков» к осмотру главным командиром Чухниным!»

Команда «Очакова», уважая своего командира с мушиной фамилией и старшего офицера с птичьей фамилией, решила подтянуться перед осмотром «Очакова» и «не подкачать»... И команда не подкачала. Все задачи, опросы были исполнены самым блестящим образом. Главный командир нашел, что команда «Очакова» блестяще дисциплинирована и обучена, поблагодарил командира и команду за усердное старание.

Радости и довольства нашего командира Овода не было границ; он как-то комично вертелся на своих коротеньких ножках, точно глобус, широко открывал рот и глухим голосом благодарил команду, офицеров, беря часто под козырек, и его черненькие, мышиные глазки, залитые жиром, блестели и горели радостными огоньками...

Командир от радости кричал:—Спасибо, молодцы! Спасибо, очаковцы! По две чарки водки!

Старший офицер Соколовский не меньше был доволен блестящим исполнением тактических задач командой при осмотре «Очакова» главным командиром Чухниным. От радости он целовал матросов, вертелся волчком, бегал по трапам с улыбающимся, радостным лицом и пускал трехпалубную ругань куда-то в пространство по направлению к Чухнину или, как он сам говорил, в догонку «самому».

Как командный состав крейсера «Очаков», так и команда ждали благодарности главного командира в приказах, но, вместо благодарности, Чухнин сделал замечание командиру Оводу, что команда революционно настроена и при осмотре вызывающе себя держала.

И наш бедный командир с мушиной фамилией, молча, без жужжания, зарылся поглубже в свою каюту и не выползал на палубу, до замены его капитаном I ранга Глизьяном.

Молча, без шума был подан вельбот № 1, тихо и осторожно матросы свозили безобидного командира на берег.

Старший офицер Соколовский остался на крейсере, суетился, нервничал и пушил, начиная с киля и кончая «клотиком» по адресу «самого».

Соколовский ругался и как-то мычал:

— Му!.. Ты всюду видишь революцию!.. Тебя мучают «прутовские кошмары»!..—У!.. у!.. Свиная фамилия!

Да, старший офицер был прав.

Чухнин видел всюду революцию, достаточно было посмотреть на Чухнина смелыми, открытыми глазами, чтобы он заподозрил в вас «бомбиста». Можно думать, что Чухнин видел, что революционная рука занесла свой меч правосудия, и он кидался, как раненый шакал, в поисках виновника, занесшего этот меч.

Прутовские призраки не давали ему покоя, преследовали его. Говорили, что он часто вскакивал с постели, звал своего ад'ютанта-телохранителя и спрашивал, стоят ли караульные, сверхсрочные боцмана, у двери, ведущей в его покой (насколько верны эти слухи, утверждать не смею).

Мне же придется только сказать:

И мой последний вздох, и мой предсмертный шопот,
Моих мучений стон, моих проклятий ропот
Пускай преследуют тебя, как тень!
И создадут тебе при жизни муки ада
Когда-ж придет и твой последний день,
Когда душе твоей нечистой будет надо



Петр Петрович Шмидт

в своем кабинете в Севастополе

Расстаться с телом мерзостным твоим,
Пускай, огнем раскаяния палим,
Ты не прощания услышишь слово
И не друзей надгробный плач;
Нет, громче прежнего раздастся снова
Мое проклятие тебе, палач!

Ну, довольно, я устал от моих проклятий, я отправлюсь к моему «Красному лейтенанту», хотя знаю, что и там мне тоже не отдохнуть.

По делам службы я с'ехал на берег и отправился к своему учителю; там я застал с.-д. Канторовича, с которым «Красный лейтенант» определенно не соглашался в политических вопросах. Канторович ушел. Мы остались вдвоем.

«Красный лейтенант» прошел два раза по комнате, остановился у письменного стола, дружески посмотрел на меня и, указывая на газету, задал мне вопрос:

— Ты читал Портсмутский договор, заключенный с Японией?

Я ответил, что читал, но не в состоянии разобраться в дипломатических «дебрях».

«Красный лейтенант» сел в кресло, посмотрел на меня, как бы раздумывая: — стоит ли говорить? и, видимо, нашел, что стоит.

— Отрезвление человеческого ума начинается; избавление от преступного и незаконного убийства человечества—это дипломатические переговоры и договоры; они могут удержать стремления к войне, пока не придет на смену новый социальный строй, только он может окончательно отрезвить безумие человечества. Социальная революция может создать такие же Голгофы трупов, какие мы видели во время войны, но мы верим, что социальная революция уничтожит войну между нациями, и мы оставим позади себя нашу «лишнюю культуру». Ты знаешь, что такое культура?..

Я ответил, что знаю, и постарался указать, как я ее понимаю.

— Нет, ты неправ! Культуры среди человечества нет! Есть дикие принципы, и мы на них строим нашу мишурную культуру. Западные государства стараются подчеркнуть, что наша русская культура отстала от уровня культурных западных государств. Где же культура Запада? Культурное ли это человечество, которое создает Голгофы трупов? Посмотри на эти два противоположные государства: Россию и Японию. Последняя культурнее первой, т.-е. России. Мы видели, что культурное государство заострило штык против некультурной России. Мы наблюдаем, как культурный солдат Японии и отсталый солдат России, эти далеко не равные по культуре, стоят друг против друга с остро-отточенными штыками и думают, как бы удачнее и ловчее вонзить штык прямо в сердце своего противника. Как тот, так и другой забыли про культуру, о которой мы так много говорим и спорим до хрипоты, — как только что я доказывал Канторовичу. Кроме того, мы культурные государства, ста-

раемся воспитывать солдат в самом зверском духе. Стараемся научить, как убить противника. Нет, стой, друг! Культуры не было, но, быть может, она будет, а пока мы руководимся дикими принципами и серой канцелярщиной. Расскажи мне морские новости.

Я рассказал учителю о том, как у нас прошел осмотр.

— А приказ Чухнина вы сами, очевидно, читали,—добавил я.

— Да, я был доволен, что команда революционно настроена.

Я постарался доказать, что Чухнин преувеличивал революционность команды. Напрасно мы смотрим розовыми глазами на команду, как на сознательную и политически подготовленную. Я указал, что на «Очакове» найдется самое большее 30—40 человек подготовленных, а остальные могут итти, как толпа, как масса, чувствующая гнет на собственной спине, и с этой темнотой мы недалеко уйдем. Напрасно мы себя обманываем; если мы и поведем по намеченной нами дороге эту толпу, то она в короткое время разочаруется, и мы же ее восстановим против себя. По моему мнению, было бы преждевременно строить на ней какие-нибудь расчеты.

— Да, ты прав, я точно так же мыслю, хоть меня многие убеждают в противном.

«Красный лейтенант» стал закуривать и сосредоточенно смотрел на какой-то предмет письменного стола. Я наблюдал за ним. Его глаза как-то строго блестели, и тонкие складки на большом лбу сжимались; видно было, что он был занят какой-то серьезной мыслью.

Он сказал:

— Да, время покажет!

Я понял, что это относится не ко мне, и не старался разгадать, что значит: «Да, время покажет!».

«Красный лейтенант» задал мне еще вопрос:

— Как ты думаешь? Много судов примкнуло бы, если бы повторилось восстание не на почве червей, а открытое вооруженное, революционное выступление? Ведь, теперь самый удобный момент в связи с тем поражением, которое мы потерпели на Дальнем Востоке...

Я ответил, что за восстание крейсеров—«Очаков», «Потемкин» и нескольких миноносцев можно поручиться. За остальные я, лично, не могу поручиться, зная о положении дел со слов партийных товарищей, строго учитывающих свои сознательные силы.

— Вот сведения, переданные мне товарищами. Те суда, на присоединение которых мы можем рассчитывать: «Потемкин», «Три Святителя», «Ростислав», «Георгий Победоносец», четыре контр-миноносца последнего выпуска и несколько номерных миноносцев, не считая крейсера «Очаков»,—сказал учитель.

Я вторично повторил свое мнение, что не могу рассчитывать на указанное им число броненосцев и миноносцев. Только на «Потемкина» и «Очаков». Рассчитывать на то, что нам удастся присоединить суда революционным путем, значит—рисковать.

— Скажи мне свои скептические доводы... — заметил мне учитель.

— Мое скептическое отношение построено на следующем основании. Революционно-морская группа товарищей сделала предварительный подсчет на каждом броненосце сознательных товарищей, и это не дало нам права рисковать сознательными матросами. Есть небольшая надежда на экипажных матросов береговой команды. Учтя предварительно наше время и наши силы, мы решили воздержаться, чтобы не проиграть строго задуманного дела. Вот предположения, вынесенные на собрании (на 42-й версте), которые просили меня доложить вам, Петр Петрович.

— Ты прав, я сам так думал, но меня стараются убедить в противном; я охотно с тобой согласен: мне вступать в командование каким-либо судном будет преждевременно и рискованно.

Я, простившись с «Красным лейтенантом», был очень доволен тем, что мне удалось доказать реальную истину и отвергнуть пристрастное суждение и пыл «нерасчетливых бунтарей».

Я отправился к себе на «Очаков» поделиться мыслями с товарищами.

IX.

Наступает недолгая, но яркая полоса активной общественной деятельности в жизни «Красного лейтенанта», и эта деятельность совпадает с эпохой общего под'ема и оживления русского общества.

Война с Японией и слепому раскрыла глаза. Все поняли, что требуется коренная ломка всех устоев бюрократической системы, так дальше продолжаться не может; необходима немедленная ликвидация старого отжившего строя. Рулевые государственного корабля направили его на неизбежное крушение.

Сознание полной ничтожности государственного механизма способствовало народному движению в пользу народовластия.

9 января 1905 года петербургские рабочие вместе с женами и детьми отправились ко дворцу просить крупицы человеческого права и прекращения войны. Но смирная толпа была встречена пулеметным огнем. Весь мир пришел в негодование от проявления царской жестокости. Социалисты Франции, Бельгии, Англии и Германии организовывали грандиозные митинги, чтобы вызвать в широких слоях населения сочувствие к русскому порабощенному рабочему и крестьянину, почтить память погибших 9 января и выразить негодование жестоким организаторам январской кровавой бойни.

Эти события не могли не затронуть чуткую революционную душу «Красного лейтенанта», он открыто и смело взывал в своей статье к русскому офицерству с просьбой непосредственно заявить слова правды жестоким организаторам кошмарных расстрелов на военно-морских судах.

Многие соглашались с «Красным лейтенантом», но решительных шагов никто не предпринимал. Начальство же реагировало тем, что «Красного лейтенанта» Чухнин выслал из Севастополя, назначив его на стационер.

Волнения в столицах, общая разруха и окончательный финансовый кризис вынудили правительство издать 6 августа 1905 г. положение о Государственной Думе. Это был слабый намек на конституцию. Дума была об'явлена совещательной, и выборы намеренно пропускались через такой сложный фильтр, что депутаты могли служить лишь только интересам самовластного правительства, а отнюдь не интересам многомиллионной России.

Народным ответом на этот манифест явилось глубокое негодование всей мыслящей России: в октябре началась всеобщая политическая забастовка.

Движение против самодержавия вынудило императорское правительство издать манифест «17 октября» 1905 года.

Россию охватило общее ликование, — повсюду весть о даровании манифеста была встречена, как светлый праздник.

Да как было не радоваться, когда была дана свобода. На началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, значительного расширения избирательного права, признания, что никакой закон не может получить силу без одобрения Думы. Манифест должен был прекратить господство грубой жестокой силы жандармской власти, уничтожить каторгу, ссылку и расстрелы.

Искренняя народная радость всполошила бюрократию и капитализм, и светлый праздник мгновенно омрачился неслыханными воплями. Манифест превратился в акт жесточайшей репрессии.

Не долго ликовал бесправный народ: — где несколько дней, а где всего-на-всего несколько часов.

Ликование народа не понравилось коронованным особам и «золотым тельцам», они выслали полицию, жандармов, обеспеченное многоземельное казачество и целые кадры черносотенцев, которые стали устраивать погромы и кровавые бойни: рубили направо и налево, стреляли, резали, жгли живьем, не разбирая пола и возраста. Россия приняла кровавую ванну. Это и была дарованная с высоты трона «свобода».

К описываемому времени вернулся в Севастополь «Красный лейтенант» (он плавал у берегов Румынии). Он был произведен в капитаны II ранга, и ему предложили подать в отставку из русского флота.

В Севастополе были проявлены репрессии не только на море, но и на суше. Как раньше, дни омрачались кошмарными расстрелами матросов, так и «дни свободы» омрачались убийствами и ранениями сотни людей по преступному распоряжению сухопутной гражданской власти.

19 октября в здании тюрьмы был ряд митингов, а 20 происходили торжественные похороны жертв царизма[1].

На кладбище собралось около 20.000 человек. Над свежими могилами 8[2] невинно убитых был произнесен ряд горячих речей городским головой Максимовым и избранными депутатами от народа: г.г. Мельниковым, Верещагиным, Орловским, П. Шмидтом, студентами и матросами.

После предания земле убитых и произнесения речей городским головой Максимовым и Мельниковым к братской могиле подошел «Красный лейтенант» (Шмидт первый раз выступал на открытом общественном митинге).

Появление его вызвало усиленное внимание многотысячной толпы, наводнявшей городское кладбище и окрестности его.

Оратор имел утомленный вид. Он только что показал себя большим общественным деятелем и неподражаемым оратором. Не будучи гласным в думе, он был приглашен городским головой к участию в заседании, и его совещательный голос создал ему в короткое время в городе популярность общественного деятеля, как ранее он слыл популярным моряком среди военного и торгового флота.

Он же был первым инициатором и организатором политических митингов, устраиваемых матросами в закрытых местах до получения манифеста 17 октября.

Привожу речь целиком[3].

Когда водворилась могильная тишина, утомленный оратор начал тихим, полным глубокой веры голосом:

— У гроба подобает творить одни молитвы, но да уподобится молитве слова любви и клятвы, которые я хочу произнести вместе с вами. Когда радость переполнила души усопших, то первым их движением было итти к тем, кто томится в тюрьмах, кто боролся за свободу и теперь, в минуту общего великого ликования, лишен этого высшего блага. Они, неся с собой весть радости, спешили передать ее заключенным, они просили выпустить их — и за это были убиты. Они хотели передать другим высшее благо жизни—свободу и за это лишились самой жизни. Страшное, невиданное преступление! Великое, непоправимое горе! Теперь их души смотрят на нас и вопрошают безмолвно: «Что же вы сделаете с этим благом, которого мы лишились навсегда? Как вы воспользуетесь свободой? Можете ли

---

[1] Митинги происходили на Екатерининской улице, на Приморском бульваре и в других местах, а в тюрьму в 6 часов вечера 18 сентября явились рабочие и матросы с целью освобождения политических арестантов. Стрелять стала конвойная команда Брестского полка и спешно вызванная рота Белостокского полка, без предупреждения открывшая стрельбу залпами в безоружных матросов и крестьян; были убиты: солдат, матрос, двое рабочих и две девушки. *Ред.*

[2] Убитых было 6 человек. *Ред.*

[3] Речь Шмидта на кладбище, так-наз. «Клятва», была помещена в «Сыне Отечества» от 7 ноября 1905 года. *Ред.*

вы обещать нам, что мы—последние жертвы произвола?». И мы должны успокоить сметение душ усопших, мы должны поклясться им в том:

— Клянемся им в том,—зазвенел его могучий крепкий голос,— что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав.

— Клянусь!—сказал оратор и поднял обе руки.

— Клянемся!—пронесся за ним многотысячный голос народа.

— Клянемся им в том, что всю работу, всю душу, самую жизнь мы положим за сохранение нашей свободы! Клянусь!

— Клянусь!—повторила толпа.

— Клянемся им в том, что свою свободную общественную работу мы всю отдадим на благо рабочего, неимущего люда! Клянусь!

— Клянусь!—пронеслось в толпе. Послышались рыдания.

— Клянемся им в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, а что мы все отныне будем равны, свободные братья великой свободной России! Клянусь!.. И повторенное народом «Клянусь!» пронеслось в толпе.

— Клянемся им в том, что мы доведем их дело до конца и добьемся всеобщего избирательного равного для всех права! Клянусь!

И народ загремел: «Клянусь!».

Перед народом был не оратор, а властный трибун, за которым готова итти многотысячная толпа.

— Клянемся им в том, — звенел голос оратора, — что если нам не будет дано всеобщего избирательного права, мы снова провозгласим великую российскую забастовку!

Не приходится говорить о том, какое сильное впечатление произвел оратор на толпу. Скажу только, что не было такой человеческой души, которую бы «Красный лейтенант» не подчинил себе.

— Клянусь! — кончил оратор.

— Клянусь!—раскатилось громко по всем окрестностям не только Севастополя, но и всего Крымского полуострова [1].

Оратор кончил. Его целовали, обнимали, помню, один солдат бросился ему на шею, забыв дисциплину и офицерский чин Шмидта.

Оратора толпа вынесла на руках с кладбища.

Вечером 20 октября за произнесенную историческую речь П. Шмидт был арестован и под строгим караулом матросов и офицера был посажен в каземат броненосца «Три Святителя». Лишение «Красного лейтенанта» свободы приковало внимание всей прессы, тем более, что 20 октября была об'явлена амнистия всем политическим [2]. Негодование прессы и сильный протест матросов сделали свое дело. «Крас-

---

[1] Если это символистическое выражение, то можно сказать «и всей России». *Ред.*

[2] Лейтенант Шмидт был арестован днем 21 октября. 21 же была обнародована амнистия «политическим». *Ред.*

ный лейтенант» был освобожден, но и после освобождения чухнинская опека продолжалась: «Красному лейтенанту» было запрещено выступать на митингах, и он был подвергнут домашнему аресту.

Я помню, что из каземата «Трех Святителей» были посланы «Красным лейтенантом» две статьи в газеты: историческое «Клянусь!» и обращение к народу. Подпись была: «Социалист вне партии».

На этой почве, из-за подписи «социалист вне партии», у меня с ним был разговор. На мой вопрос: «Почему вы не в партии, несмотря на ваши убеждения с 1900 года и на вашу симпатию тактике с.-р.», «Красный лейтенант» ответил:

— Мой друг! Не хочу носить крикливый аншлаг! Не считаю нужным быть зависимым от некоторых дисциплин, строго поддерживаемых партией.

— Но почему вы мне предложили войти в партию еще в 1902 году?

— Тебе нужна, необходима партийная дисциплина, которая бы удержала тебя от анархических наклонностей,—добродушно заметил мне учитель.

Митинг на Приморском бульваре, состоявшийся 6 ноября, превзошел все ожидания — 6-8-тысячная толпа требовала освобождения из-под домашнего ареста лейтенанта Шмидта.

Видимо, эти требования подействовали на жестокого, но трусливого Чухнина, а в особенности—брожение на «Очакове» и на «Потемкине».

8 ноября около 12 часов дня после побега офицеров с «Потемкина» прибыл Чухнин с напутственной речью, и затем его ад'ютант прочел команде телеграмму следующего содержания:

«Приказываю черноморским восставшим командам повиниться моей власти. В противном случае я поступлю с ними, как с клятвопреступниками... Николай».

На крейсере «Очаков» матросы держали себя дисциплинированно и тактично, только часто собирались группами и читали газеты, прислушиваясь ко всему окружающему; отношение к командному составу также было удовлетворительно, если не считать маленькую стычку с вновь назначенным командиром, капитаном I ранга Глизьяном. Командир отдал распоряжение собраться команде на церковной палубе, где команда и собралась.

Командира Глизьяна команда совершенно не знала и не чувствовала к нему симпатии, судя по внешнему виду, не внушавшему доверия.

Командир хотел отвлечь команду от чтения газет: — мол, нам не следует знать, что творят люди гражданские... Мы люди военные и должны быть вне всякой политики. Но его тягучий голос был прерван сильным баритоном из задней толпы матросов, с сопровождением сильной площадной ругани, хотя дело было в церкви:

— Что же, ты хочешь нас держать в невежестве и темноте, как держали нас многие столетия?—Командир не мог уловить, кем было пущено это меткое замечание [1].

Он так опешил, что в ту же минуту оставил церковную палубу. После этого как все офицеры, так и часть матросов, боцманов и кондукторов чувствовали над собой сгущенные мрачные тучи, всеми овладело какое-то подавленное, гнетущее состояние духа.

Помню, мне говорил С. П. Частник:

— Напрасно прозвучала ругань по адресу командира! Ведь, мы дали обещание не проявлять себя в резкой форме к офицерам до известного момента, а, быть может, они и не заслужат резкой формы.

— Что же делать? Это был невольный взрыв после долгого молчания, — ответил я Частнику.

Революционные настроения на рейде действовали на береговую команду.

11 ноября произошел митинг на площади между флотскими экипажами и Брестскими казармами, на котором были выработаны экономические требования, изложенные в 19-ти пунктах, из которых 5 трактовали об улучшении быта и культурных условий жизни низших чинов флота и армии, а остальные были общего политического характера: амнистия по делам политических заключенных, восьмичасовой рабочий день, немедленная подготовка к созыву Учредительного Собрания на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования.

Распоряжение Чухнина—разогнать митинг—было поручено контр-адмиралу Писаревскому и капитану Штейну.

Адмиралом Писаревским были приняты решительные меры; он приказал караулу стрелять по митингу, и уже были готовы прицелы, как весы правосудия остановили жестокую руку, занесшую меч над многотысячной толпой.

Само небо послало кару в лице мирного и честного матроса Петрова. Метким, смелым и справедливым прицелом был поражен в самое сердце тот, кто хотел пронзить тысячи невинных сердец. Писаревский был убит наповал, а капитан Штейн ранен.

Петров бросил винтовку и предложил себя арестовать, говоря:

— Любовь к брату заставила меня убить врага...

Петров был первоначально арестован, а затем, выпущенный восставшими, скрылся [2].

Начались на берегу аресты офицеров присоединившимся (впоследствии предательским) Брестским полком, арестован был командир полка Думбадзе и выдан морякам, которые сделали его заложником;

---

[1] Замечание сделал матрос Чураев. *Ред.*

[2] Петров не скрылся, а ему было поручено матросской организацией командование единственной вооруженной ротой матросов, назначенной для охраны экипажей (матросских казарм) от нападений. *Ред.*

также был арестован комендант Неплюев и начальник дивизии Седельников.

Революционная волна с рейда катилась по берегу, захлестывая не только береговую команду, но и сухопутные войска, позже предательски ушедшие от революционной волны и ставшие в сильную оппозицию к морякам.

Брестский полк, крепостная артиллерия, все предательски ушли и направили свои тяжелые орудия на рейд, не взявши пока прицела, так как они еще не знали, что будет служить мишенью.

Осталась верна своему долгу, долгу революции — часть морской и береговой команды, которая должна была неизбежно погибнуть под тяжелыми орудиями севастопольского гарнизона и такими же дальнобойными орудиями всей Черноморской эскадры, преданной Чухнину.

Борьба далеко не равна! Гибель неизбежна!

Но революция требует гибели и жертв; мы твердо решили отдать себя на алтарь революции, не поступившись ни одним шагом, пока мы живы. Мы останемся верными сынами нашей родины, порабощенной многие века.

Выхода нет! Командование революционной эскадрой, состоявшей из крейсера «Очаков» и обезоруженного «Потемкина»—вот та Голгофа, на которую взошел «Красный лейтенант», оставаясь верным принесенной им клятве.

— Петр Петрович! Гибель неизбежна, и проиграно наше великое лелеянное долгими годами дело,—говорили ему близкие, преданные друзья, идя вместе с ним.

— Мои преданные товарищи! — смело отвечал «Красный лейтенант»,—у нас другого исхода нет, попытаемся применить наши крошечные революционные силы и ту глубокую веру в правду нашей чуткой души. Быть может, наша глубокая вера даст возможность восторжествовать правде! Быть может, наша истинная правда будет услышана на всей эскадре Черноморского флота! Я иду! Я готов!..

Это было сказано 13 ноября. День рокового числа.

Мы оставили «Красного лейтенанта» на берегу с тяжелыми думами. С думами над историческим великим событием, давшим сильный сдвиг вперед революционного дела, вызвавшим в России многие революционные вспышки и симпатии Западной Европы к русскому революционному движению.

Гнетущее состояние на крейсере «Очаков» г.г. офицеров привело их к позорному бегству даже тогда, когда со стороны команды было предложено остаться на крейсере «Очаков» тем, кто не желает оставить свою преданную команду.

Было дано слово, что офицеры, любившие «мордошлепство» и чувствующие себя недостаточно симпатичными команде, могут с'ехать на берег, и к ним не будут применены никакие репрессивные меры.

Кто желает принять участие в явном вооруженном восстании, может занимать место, соответствующее его назначению.

Предложение офицерами не было принято, особенно теми, кто чувствовал себя виноватым перед командой, хотя таких было всего два: лейтенант Зеленый и мичман Холодовский. Боцман Каранфилов и еще некоторые боцманматы и жалкие трусы-кондукторы и матросы панически бежали на берег. Что касается «любителей мордошлепства», то они были настолько перепуганы, что напоминали трупы мертвецов: желто-синего, бледного цвета, искаженные какой-то непонятной болезненной мольбой. Они смотрели умоляюще на матросов, как бы просили:

— Нас за борт не надо!.. Оставьте нам жизнь!—Матросы убедили испуганных жалких беспомощных трусов, что они их знают, как недостойных офицеров, но, «благодаря нашей революционной совести и благоразумию, мы, революционеры, не сделаем насилия над их личностью, хотя они и заслужили этого. Мы не отнимем жизни у того, кто не покушается на жизнь другого. Помните, что к тем, кто помыслит отнять жизнь «Красного лейтенанта» или наших товарищей, идущих под вымпелом революционного движения, мы будем неумолимыми и беспощадными».

Офицеры оставили «Очаков» с мучительной болью, дав нам слово, что они не будут принимать никакого участия в анти-революционных действиях, и они сдержали слово, за исключением лейтенанта Зеленого и мичмана Холодовского, как мы увидим ниже.

Командование «Очаковым» взял на себя кондуктор С. П. Частник до прибытия на крейсер «Красного лейтенанта».

X.

Постановление депутатов от всех частей флота 14 ноября о том, что главным командиром и руководителем вооруженного восстания избран Петр Петрович Шмидт, было сообщено ему через делегатов. При этом ему было предложено немедленно перейти на крейсер «Очаков», где находится главный революционный штаб.

Прежде, чем перейти к описанию вооруженного восстания революционного флота, считаю своим долгом познакомить читателей со славными и смелыми революционерами, погибшими вместе с «Красным лейтенантом» на острове Березани: это—Частник, Гладков и Антоненко, принявшие на себя командование и управление славным революционным крейсером «Очаков».

Кондуктор Черноморского флота, старший баталер, Сергей Петрович Частник, крестьянин Таврической губернии, Днепровского уезда, села Чалбасы. До военной службы был народным учителем в селе Чалбасы. Добиться крестьянину учительской кафедры не так-то легко, и Частнику пришлось встретить на своем пути немало преград; и только благодаря его исключительной железной воле он все

преграды одолел и стал на пути к просвещению темной народной массы, из которой только что сам вышел.

Выйдя из родственной ему массы, он хорошо знал, как труден тернистый путь к истине, свету и свободе.

В 1894 году Сергей Петрович Частник был призван на военно-морскую службу в Черноморский флот и зачислен в 29 флотский экипаж молодым матросом

Сергей Петрович Частник был высокого роста, строен, как молодой олень, брюнет, с белым нежным лицом, красивый, выдержанный, с большими карими глазами и большими белыми, ровными, красивыми зубами, выделявшимися из симпатичных очертаний рта. Говорил тихо, убедительно, с некоторым налетом религиозного чувства. Как мне потом удалось узнать от его брата Ф. П. Частника, он принадлежал к секте «Духовных Христиан» до военной службы и на военной службе исповедовал ту же религию.

Привычка Частника была такова. Он ступал широко, но медленно, потирал машинально руки и ходил взад и вперед. Стоял он, непременно заложив левую руку в карман мундира, а правую за борта его. Это была его постоянная привычка.

Будучи еще писарем 29 ф. э., он уже хорошо ознакомился с палочной жестокой и строгой карательной дисциплиной и тут он не устрашился и не оставил свои заветные мечты о социализме и, несмотря на строгость, он энергичнее принялся за работу.

Через несколько лет Частник выдержал экзамен на старшего баталера, был зачислен на яхту «Колхида», отправлявшуюся за границу стационером, где она пробыла около года, и, по возвращении из-за границы, был зачислен старшим баталером на крейсер «Очаков»; тут-то он и стал рассадником своих идей.

По службе он был строг и разумно дисциплинирован, подчиненные боялись его, но вместе с тем и любили; к нему была бессознательная симпатия.

Частник состоял в партии, но не в военной организации.

Он горел нетерпением, ожидал момента, когда он уже не будет прятаться в подполье, а открыто выступит перед родственной ему массой матросов.

Матросы-единомышленники называли Частника «ходячей историей революционного движения в России».

Настал момент, давно желаемый, и Частник принимает самое активное участие в вооруженном восстании крейсера «Очаков».

Александр Григорьевич Гладков, мещанин города Пензы. Учился в ремесленном училище, но не окончил его по неизвестным причинам, кажется, вследствие домашних недостатков, и Саша пошел работать в депо, где работал и его отец.

С раннего детства Саша стал у слесарного станка, ему было знакомо, что значит железная пыль и внимательное «око» заведующих депо.

По словам Гладкова, он рано познакомился с политикой благодаря отцу, который давал ему почитывать запрещенные книжки. Саша сделался убежденным революционером-теоретиком; он был убежден, что только путем революционного движения можно освободиться от императорского режима, а при помощи социальных наук можно освободить человечество от непосильно-тяжелого труда и притти к торжеству социализма. В этом была его вера, и он решил, что нужно итти и проповедывать идею социализма.

Саша был по натуре очень смелым, живым и подвижным. Среднего роста, темный блондин, хорошо сложен, с крепкими, хорошо развитыми мускулами, круглым и полным, немного веснущатым лицом, с черными острыми глазами. Работал Саша много, а получал за свой труд мало, и никто не спрашивал Сашу, как он живет и как влачит свое жалкое существование.

В 1903 году Гладков был призван на военно-морскую службу и зачислен в Черноморский флот в 32 ф. э., окончил строевое учение и был назначен в машинную школу самостоятельных машинистов; продолжая школу машинистов, ходил на практическую работу на постройку крейсера «Очаков».

Практическую подготовку он получил блестящую, как мы видели выше, под руководством сормовских механиков и мастеров. Не меньшую подготовку он получил и в теоретическом социализме среди мастеровых специалистов, работавших по постройке «Очакова», командированных от различных заводов.

Во время постройки и после Гладков отдавал свободное время агитации среди матросов, а особенно среди машинной команды, где им представлялась возможность забиваться в трюмные отсеки, читать и говорить свободно (единственное место на «Очакове», где можно было говорить о политике). Трюмные отсеки мы называли «конспиративной квартирой», лежащей на 45 футов ниже поверхности моря, там же хранилась и литература.

Часть машинной команды была хорошо подготовлена Сашей.

Во время вооруженного восстания революционный штаб «Очакова» назначил Гладкова главным механиком, и этому назначению он вполне соответствовал.

Среди своих товарищей мы его называли «Саша-бунтарь».

Никита Петрович Антоненко был зажиточным крестьянином Екатеринославской губернии; он любил трудиться над своей нивой, не возвращался из степи, где жил на хуторе, пахал и скотину кормил или, как он выражался, «волам хвосты крутив», «та вивцам коросту балыв», «батькував на хутори».

Воспитание Антоненко получил в патриархальной малороссийской семье. Окончил церковно-приходскую школу—«Бильше нэ треба»—сказал батько... «Бачу, умиешь читать «оче наш» и расписаться, и буде. Трэба кони погонять в плужинци...»

И с 13 лет «Мэкыта» потел на хуторе, «конев погоняет, то коросту балыть»...

Мэкыта рос себе в степи и вырос гарный парубок, як намалеванный, дивчата на Мэкыту дывились, як кит на сало. Той и Мэкыта вховався в гарну дивчину и их поженили. Як только пип повинчать, Мэкыте было ривно 18 рик и его жынили «або до ума прывыли», як козав его дуже сырдытый батько.

Так Антоненко жил в степи и занимался сельским хозяйством, изредка приезжая в село, чтобы посмотреть, что там делается, как в 1902 году сельский староста постучал в дверь патриархальной семьи Антоненко и сказал старику:—Ну, куме, збирай свого Мэкыту в рекрути и посылай его до громады...—И наш Мэкыта скоренько забрався и пишов на збирню громаду.

Молода жинка и мати плакали, а батько тилькы сопев то думав: — Ще-це такэ? Ны як ны размыркую! Ростив и кормив хлопца до 21 рик., а теперь его у мэнэ быруть...—А Мэкыто успокаивал жинку и козав, ще виш выйме вылыкый жеребий и его ны вызмут на ту прокляту службу.

Антоненко больше не вернулся на свой участок и хутор. Был принят одним из первых рекрутов и зачислен на военно-морскую службу в Черноморский флот 32 ф. э. молодым матросом. Окончил строевое учение и был зачислен комендором крейсера «Очаков»; школу комендоров успешно окончил, и в звании комендора он ходил с экипажа на установку дальнобойных орудий Путиловских заводов. Здесь ему пришлось увидеть тех людей, которые изобретают страшные орудия против человека. Как орудий, так и их изобретателей Антоненко до сего времени не видел, и все это ему казалось каким-то новым, сказочным миром. Специалистов, «изобретателей пушек», он уважал и часто прислушивался к интересным разговорам, для чего изобретают эти страшные, смертоносные, разрушительные орудия.., а отсюда и вытекала «политика», о которой часто разговаривали сознательные специалисты. Пылкая любознательная натура Антоненко быстро воспринимала сказанное. Антоненко сдружился с путиловскими специалистами, делился с ними по-дружески своими чарками, которые сам он почти не пил, и после говорил с ними и читал запрещенные листки в башнях или в снарядных отделениях.

Так постепенно ширился и укреплялся политический кругозор Антоненко. Революционная теория дала ему многое,—то, о чем он никогда не мечтал, и он стал убежденным революционером и сознательным матросом.

Команда «Очакова» любила Антоненко за его тихую натуру, очень мягкий и мирный характер. Кроме того, Антоненко многое выигрывал своим внешним видом. Он был высокого роста, пропорционально сложен, имел красивые и хорошо развитые мускулы; светлый брюнет, или темный шатен. Красивые большие каштановые глаза с черными загнутыми ресницами, чистое полное лицо, красивая, точно выто-

чённая шея, гордая и вместе с тем смелая осанка. Команда «Очакова» называла его «красавец-богатырь», и он, действительно, был «богатырь»: он в-ручную вращал 8-дюймовое орудие.

Мы его называли «Самсоном», а офицеры—«Аполлоном».

Благодаря его мирному, доброму и чуткому характеру, Антоненко умел расположить к себе матросов; все обиженные своими товарищами комендоры искали защиты у «Богатыря», и богатырь улаживал обиды и изредка наказывал обидчиков своим увесистым кулаком.

Успех в агитации Антоненко имел большой.

Во время вооруженного восстания «Очакова» Антоненко был назначен старшим комендором и командовал батареями. Вообще в Антоненко проснулся действительный «Самсон», он положительно был неузнаваем: тихий Антоненко умер, а вместо него родился энергичный, смелый революционер. Он принимал активное участие в аресте заложников, в освобождении политических матросов с «Прута». Благодаря «Самсону» заложники остались живыми (во время стрельбы по «Очакову» караульные матросы хотели перестрелять заложников, но властная рука «Самсона» остановила занесенный меч над преступными головами). Он, только он один, спас тех, которые потом убили его самого своими свидетельскими преувеличенными показаниями, и «Самсон» говорил: «Мне отмщение, и аз воздам».

XI.

14 ноября 1905 года, около часу дня, «Красный лейтенант» с тяжелыми думами и маленькой искрой надежды, что ему удастся привлечь правительственный флот к революционному «Очакову» и заставить Николая II исполнить волю восставших матросов Черноморского флота, принял командование крейсером «Очаков» и руководство революционным вооруженным восстанием...

Команда крейсера «Очаков» приняла своего революционного командира по всем правилам военно-морского устава: была устроена парадная встреча, которая полагается для главных командиров. С. П. Частник отдал рапорт о состоянии «Очакова» и революционного флота. «Красный лейтенант» поднялся на мостик с открытой головой, держа фуражку в левой руке, накидку оставил на руках матросов и тут только, на мостике, он почувствовал, что он может и должен громко на всю порабощенную Россию, даже на весь мир, сказать:

— Вставай, проклятьем заклейменный!

С поднятием «Красного лейтенанта» на мостик одновременно взвился и красный вымпел, и под этим красным вымпелом было произнесено историческое «Клянемся нашим вымпелом!», которому мы, шмидтовцы, и остались верны. Одновременно поднялись красные флаги и на некоторых мелких судах. За исключением «Потемкина» и контр-миноносца «Свирепый» всего насчитывалось с мелкими судами 11 поднявших красный флаг.

На крейсере «Очаков» был поднят сигнал:

«Командующий революционным Черноморским флотом гражданин Шмидт» [1].

В эту же ночь был организован революционный штаб из 5 человек во главе с «Красным лейтенантом».

Революционным штабом было постановлено послать телеграмму на имя Николая II следующего содержания:

«Царь! Черноморский революционный флот выходит из повиновения твоим министрам и требует полной народной свободы России...

Командующий флотом гражд. Шмидт» [2].

Революционный штаб флота был перегружен делегатами от всех частей гарнизона; многие из них абсолютно не могли дать отчета, что им нужно. Несомненно, что в числе делегатов было $^2/_3$ провокаторов и сыщиков; в течение 30 часов работы штаб физически не мог проверить делегатов. Нужно отдать справедливость: восставшие моряки несли на своей спине всю тяжесть революционного времени, вплоть до охраны гражданской безопасности гор. Севастополя.

Были посланы патрули для охраны личности и имущества, население было совершенно вне всякой опасности от погромов, которые пытались устроить черносотенные банды.

Население настолько чувствовало себя вне опасности, что даже не считало нужным закрывать магазины: купец торговал, а рабочий ликовал.

Делегаты от всех частей докладывали штабу, что к нам примкнул, арестовав командиров, весь севастопольский гарнизон.

Во всех сухопутных батареях севастопольского гарнизона были сняты ударники, а у иных орудий даже и замки.

Гражданские политические руководители—Канторович и, кажется, Вороницын—донесли штабу, что к нам примкнули Белостокский и Брест-Литовский полки, выдав своих офицеров, как заложников. Когда же штаб флота распорядился, чтобы заложников прислали к нам, то Канторович ответил, что это оказалось провокацией.

Мы лишний раз убедились, что провокация всюду, всюду бессознательная темная масса. Руководящей силы нет, она так мала и перегружена работой, что физически не может руководить восстанием, и мы с каждым часом чувствовали все сильнее, что наше славное дело проиграно.

15 ноября, в 10 часов утра, была послана вторая телеграмма на имя Николая:

---

[1] На крейсере «Очаков» был поднят сигнал: «Командую флотом. Шмидт». *Ред.*

[2] Текст телеграммы царю был следующий: «Славный Черноморский флот, храня заветы и преданность царю, требует от вас, государь, немедленного созыва Учредительного Собрания и не повинуется более вашим министрам. Команд. флотом гражданин Шмидт». *Ред.*

«Монарх! Крымский полуостров об'явлен республикой! Требуем скорейшего созыва Учредительного Собрания! Полную амнистию политическим заключенным! Командующий революционным флотом гражданин Шмидт».

Как ни малы были требования Черноморского революционного штаба, как они ни заставляли трепетать эскадру Чухнина, но наше революционное сознание не давало нам права рассчитывать на успех задуманного нами плана.

Чухнин, между тем, не дремал. Он решил пойти на все, как это видно из перехваченных телеграмм. Он был готов к подавлению восстания раньше даже, чем оно вспыхнуло:

«Симферополь, 12 ноября. Для подавления восстания моряков и пополнения севастопольского гарнизона посланы войска из Симферополя».

«Симферополь, 13 ноября. Часть Литовского полка, вызванная сюда вечером, отправлена в Севастополь».

«Павлоград, 14 ноября. Экстренно отбыли в Севастополь Керчь-Эникальского полка 6 рот».

«Симферополь, 14 ноября. Высланы из Симферополя Литовский полк, из Феодосии часть Волынского с полевой артиллерией».

«Командование гарнизоном вверено Меллеру-Закомельскому».

В момент восстания Чухнин удовлетворил экономические требования войск: вместо срока службы во флоте семь лет приказом Чухнина было об'явлено 5 лет; в армии—1 год 8 месяцев. Сухопутным войскам, вместо 42 коп. в два месяца жалованье было об'явлено 1 р. 10 коп. в месяц. Морякам—заграничное плавание на время кампании, береговой команде, матросу 2-й степени—от 4 р. 50 коп. и выше по специальности, тут же было сказано, что после ликвидации революционного восстания «Очакова» «приказано немедленно произвести демобилизацию армии и флота».

Оставшиеся на службе получают: моряк—4-месячный отпуск, сухопутные войска—2 месяца.

Перед войсками флота и армии вырос гигантский соблазн демобилизации.

Брест-Литовский и Белостокский полки немедленно ушли от революционеров, освободив своих начальников и из'явив всепокорнейшее повиновение, за что и получили награду—ежедневно 2 куска сахару.

На «Ростиславе», «Синопе», «Екатерине», «Георгии Победоносце» и на остальных судах выносилась на палубу «ендова» и даже целыми ушатами водка.

Было предложено: «Сегодня пей, а завтра будешь совершенно уволен от службы и пойдешь на родину»... и матросы пили от радости, что те, кто прослужил 5 лет, завтра будут отправлены на родину; оставшиеся на службе точно так же пили, провожая товарищей.

Матросы названных броненосцев спаивались до полусмерти, обнимались с офицерами, которые их спускали в трюмы и жилые палубы, где они мертвецки засыпали и не видели, что говорят сигналы «Очакова», и как «Красный лейтенант» обезоруживает г.г. офицеров и возит к себе на «Очаков» заложниками. Матросы спали и были беспомощны, а преданные Чухнину боцманы и кондуктора готовили броненосцы к боевому порядку.

Чтобы парализовать чухнинскую подготовку, революционный штаб постановил арестовать всех офицеров с названных броненосцев, если это удастся, и взять их заложниками на «Очаков». К борту подошел контр-миноносец «Свирепый» с шестью минными аппаратами; «Красный лейтенант» с тремя матросами, стоя на борту, призывал матросов эскадры Чухнина к революционному восстанию, говоря:

— Идите за нами, верные сыны народа! С нами идет весь порабощенный народ! С нами бог и весь русский народ!

Одновременно был поднят сигнал на «Очакове»: если команда броненосцев откажется выдать офицеров, как заложников «Очакову», или с палубы корабля будет попытка лишить жизни командующего флотом революционной эскадры, то миноносец «Свирепый» вынужден будет немедленно взорвать броненосец, не считаясь с гибелью всей команды. За жизнь каждого революционера-матроса будет повешен на фокс-рее один из заложников, находящихся в трюме «Очакова».

Сигнал революционного штаба, видимо, подействовал на жалких трусов. «Красный лейтенант» смело поднимался на борт корабля, обращался с речью к команде, приглашал офицеров итти за ним по революционной дороге, и, если они отказывались и не давали честного слова морского офицера стоять в стороне от революционного движения и не быть анти-революционером, то им немедленно предлагалось сдать оружие и следовать за ним на «Очаков»; конечно, каждый жалкий трус давал честное слово и оружие, оставался обезоруженным на своем корабле, а брались заложниками только те, которых команда сама выдавала.

Заложники, принятые на «Очаков», были посажены по различным каютам, куда им давалась аккуратно пища, они были вне всякой опасности, они находились под самым строгим и самым гуманным наблюдением С. П. Частника и его помощника Антоненко, распоряжавшихся всеми караулами на «Очакове».

«Красный лейтенант» не окружал себя телохранителями, а один поднимался на борт корабля, спокойно и серьезно обращался к офицерам, предлагал им итти к народу, который зовет их, и где они будут нужны.

Многим же «Красный лейтенант», которых он знал за самых ярых черносотенцев, заявлял прямо: «Вы недостойный офицер рус-

ского флота! Снимите ваше оружие и передайте его мне! Именем революции я вас арестую и отправляю на «Очаков», как заложника», и испугавшийся трус снимал покорно оружие и отдавал «Красному лейтенанту» и с поникшей головой спускался на борт контр-миноносца «Свирепый», как заложник, приниженный и раздавленный. И это тот, кто недавно кричал с пеной у рта, что он готов умереть за монарха и свои кастовые традиции.

Так произошли аресты заложников на «Пруте», где сидели политические матросы, офицеры и кондуктора по делу «Потемкина». Так же спокойно и тихо были арестованы и офицеры «Потемкина» и доставлены на «Очаков».

Во время ареста заложников революционному штабу было доложено о том, что сухопутные войска, Брест-Литовский, Белостокский и другие полки, находятся в подчинении правительству, а также все сухопутные, крепостные батареи и пришедшая полевая артиллерия, расположенная на Северной стороне, приготовлены к бою.

Белостокским и Брест-Литовским полками оцеплена Северная бухта, и Константиновская батарея повернула свои тяжелые орудия на революционную эскадру. Не было сомнения, что гибель «Очакова» неизбежна, революционная эскадра будет через 2 часа расстреляна.

Борьба не равна! Весь Черноморский флот, и все севастопольские укрепления и все крепости—против «Очакова» и «Потемкина» без снарядов.

По возвращении «Красного лейтенанта» ему было доложено об этом.

— Мои преданные друзья!—сказал он.—Ведь вам известно, что я принял на себя командование тем, что было еще проиграно 13 ноября, что наше славное революционное дело должно было погибнуть сегодня утром, но, видимо, само небо удержало от гибели. Спасения у нас нет, бежать с революционного рейда будет клятвопреступлением. Приказываю поднять вымпел: «У меня имеется много заложников-офицеров, гибель «Очакова» повлечет за собой и их гибель».

Приказание было исполнено.

— Пригласите ко мне заложников высших рангов!

Заложники вошли в кают-компанию «Красного лейтенанта».

— Г.г. заложники! Вы арестованы именем революции; исполнителем народного революционного требования является революционный крейсер «Очаков», который должен погибнуть через час с тысячами жертв. В этой гибели неизбежна и ваша гибель не от руки революции, а от руки жестокого Чухнина и Меллера-Закомельского. Предлагаю вам написать письма Чухнину и Меллеру-Закомельскому, что вместе с «Очаковым» неизбежна и ваша гибель.

Заложникам была выдана бумага и чернила, и они немедленно написали письма Чухнину, Закомельскому и другим начальникам отдельных частей гарнизона. Умоляли коллективными письмами и

отдельными не стрелять по «Очакову», так как действительно их гибель в каютах «Очакова» неизбежна.

Письма были прочитаны «Красным лейтенантом» и немедленно отправлены курьерами по адресам, за печатью «Очакова».

Между тем, Антоненко приготовил «Очаков» к бою.

Бортовые орудия были направлены на эскадру Чухнина, а носовая и кормовые башни—по сухопутным крепостям, заведомо зная, что борьба не равна или, как он говорил: «Пулемет — против 24-дюймовых орудий».

Нет, мы, искренние и преданные революционеры 1905 г., не думали о собственной шкуре. Мы только думали о нашем революционном долге. Мы клялись не опустить наш красный вымпел. Мы клялись без ропота выносить все тяжести, которые будут взвалены на нас царскими палачами. И мы выносили без ропота! Без стона!

Крейсер «Очаков» был под полными парами, и мы могли уйти из Севастополя. Сделать это нам казалось действительно клятвопреступлением. Мы не хотели подорвать веру в нас матросов. Мы знали, что реакционная печать кричала с пеной у рта о том, что «Потемкин» создал провокационное непростительное преступление: своим выступлением возвел на Голгофу гибели тысячи матросов, а сам бежал от них в Румынию.

Нет, «Очаков» не намерен был бежать, оставив на берегу тысячи верных своему долгу революционеров, которые шли за нами до конца.

Мы, «очаковцы», смело, без страха, без боязни, с гордостью понесли наш красный вымпел. Мы так же гордо наденем наши саваны и станем к столбам, приготовленным царскими палачами, и не будем просить пощады, если мы не умрем на нашем славном революционном крейсере «Очаков», где мы думали найти нашу боевую могилу братьев-революционеров. Сейчас начнется бой,—на эскадре Чухнина и на батареях подняты боевые флаги.

Был поднят сигнал Чухнина «Очакову»:

«Приказываю восставшему крейсеру «Очаков» сдаться и повиноваться государю императору».

Был ответ «Очакова»:

«Я не сдамся».

— Правый борт по эскадре, левый—по Константиновской батарее,—скомандовал Антоненко. «Очаков» находился в кольце батарей, в кольце бушующей огненной стихии. «Красный лейтенант» стоял на мостике, наблюдая за готовящимся ураганным огнем, делал распоряжения приготовлять спасательные пояса для команды и пожарные шланги для тушения пожара на «Очакове».

Около него на мостике стоял его сын, Евгений, мальчик 17 лет, не оставлявший отца во все время революционной деятельности. Он также без страха смотрел на чудовищную смерть, как и отец.

Несмотря на все старания и уговоры отца оставить «Очаков», смелый Евгений оставался до последней минуты с отцом, говоря: «Я умру вместе с тобой и твоими славными героями-«очаковцами».

Видно было, какая борьба происходила в душе отца за сына.

«Красный лейтенант» просил сына оставить «Очаков», говоря:

— Ты, мой сын, ты должен жить для выполнения моих идей и нашего славного народного дела! Умоляю тебя оставить «Очаков».

Евгений уступил отцу, сошел с мостика и собрался перейти на борт миноносца, для чего была спущена шлюпка, на которую отец помог сыну спуститься; он отправился на миноносец, и в этот же момент начался обстрел «Очакова».

XII.

15 ноября 1905 года, перед закатом осеннего солнца, был расстрелян крейсер «Очаков», поднявший революционный вымпел Черноморского флота и об'явивший Республику Крымского полуострова.

Первый выстрел был сделан по славному «Очакову» канонерской лодкой «Терек».

Вторым тяжелым выстрелом с Константиновской батареи была сделана пробоина в «Очакове» над ватерлинией; хлынула вода в трюм, но благодаря непроницаемым переборкам был заполнен водой один отсек, и вода остановилась, а затем «Очаков» был подвергнут ураганному огню. Огонь был открыт со всех сторон. Даже полевая артиллерия обдавала нас шрапнелью из какого-то ущелья Северной стороны, не говоря уже о броненосцах «Ростиславе», «Синопе», «Чесме», «Евпатории», «Георгии Победоносце», «Меркурии» и других.

Дальнобойные орудия били по короткому расстоянию одного узла и пронизывали «Очаков» на-вылет.

«Очаков» горит, матросы гибнут; были приняты меры к тушению пожара, но безрезультатно; раненые матросы падали за борт. «Красный лейтенант» и многие из нас спасали утопающих.

Нет, читатель, я не в состоянии выразить того кошмарного кровавого ужаса, который переживал славный «Очаков».

Сотрясение воздуха от ураганного огня было так велико, что, казалось, должны взорваться минные склады и пороховые погреба.

Ослепленный жестокостью Чухнин не заметил того, что он подносит факел к резервуару, наполненному взрывчатыми газами, на котором сам стоит, чего не упустил из вида предусмотрительный «Красный лейтенант».

— Пустите «Буг» ко дну. Смотрите—«Буг» взорвется...—неистово кричал «Красный лейтенант».

На минном транспорте «Буг» было около 5.000 пудов взрывчатого материала, и Чухнин, уничтожая революционеров, забыл, что

он уничтожает себя, уничтожает весь Черноморский флот, уничтожает весь Севастополь со всеми окрестностями...

Минный транспорт «Буг» немедленно был пущен ко дну матросами-революционерами.

Минный транспорт «Буг» стоял у Графской пристани; в окрестностях Севастопольской бухты находились склады минных и пороховых погребов, в которых по тому времени насчитывалось до 3.000.000 пудов всевозможных взрывчатых веществ.

Вполне понятно, какой ужас наводил «Буг» своим существованием на тех, кто понимал, что неслыханная в мире катастрофа должна быть неизбежна, если в «Буг» попадет снаряд.

Как только началась стихийная стрельба по «Очакову», «Красный лейтенант», задыхаясь от снарядного и пожарного дыма на «Очакове», неистово кричал: «Буг! Буг!... Пустите ко дну!» Он стоял на мостике, указывал жестом руки по направлению к эскадре Чухнина и кричал: «Безумцы! Вы уничтожаете не только революционеров! Вы гибнете сами с миллионами жертв! Смотрите—«Буг»! Достаточно было одного снаряда по «Бугу», чтобы последовал взрыв пироксилина и нитроглицерина, и этот взрыв, несомненно, детонировал бы на минные и пороховые склады в 3.000.000 пудов, которые также одновременно могли бы взорваться.

От этого взрыва содрогнулось бы Черное море, и волны его вышли бы из берегов, неся за собой гибель всему тому, что было бы на пути, и вместо Севастополя осталась бы пропасть, поглотившая миллионы жизней.

Минный транспорт «Буг» постепенно садился ко дну, унося с собой в море страшную смерть миллионов невинных жертв.

Славный «Очаков» продолжает гореть ярким факелом, и на нем горят сотни жертв, гибнут мучительной смертью.

Вода попадает в машинное отделение, и «Очаков» должен погибнуть от взрыва котлов; какая надвигается новая ужасная смерть!

Кто-то крикнул из машинной команды, что сейчас взорвутся котлы. Матросы бросились за борт; бросился за ними и «Красный лейтенант»,—он поплыл к сыну на миноносец. Один только бесстрашный С. П. Частник оставался на «Очакове»; он говорил: «Товарищи! Не покидайте наш славный крейсер «Очаков»! Умрем с гордостью на нем ! Будем верны до конца данной нами клятве!».

В числе искавших спасения и бросавшихся за борт матросов был и я; я решил плыть на Северную сторону, думая найти там спасение; но—увы! Всюду были пули, штыки и шрапнели.

На Северной стороне спасения не было, там стояли, оцепив бухту, Белостокский и Брест-Литовский полки, они не допускали к берегу плывущих матросов, расстреливали подплывающих или вытаскивали на берег и кололи штыком. Многие решили плыть обратно на «Очаков» или прямо в море, где их поглощали волны. Оставаться среди бухты было невозможно, были спущены паровые

катера, которые бороздили по рейду и разыскивали плавающих матросов...

Я вернулся обратно на «Очаков», когда уже стемнело. «Очаков» пылал ярким красным факелом, освещая севастопольский рейд.

Рейд освещался также прожекторами, и в полосе света черные тени катеров нащупывали плывущие точки, водили по ним пулеметами, как пожарными шлангами, расстреливая матросов. Единственное утешение было умереть на «Очакове», а, вернее, заживо себя сжечь в этом славном историческом костре.

Рассчитывать на спасение на «Очакове» было невозможно, хотя носовая часть не была еще охвачена пожаром. Я взобрался на «Очаков» по какой-то спущенной веревке. На «Очакове» был я совершенно голый (я снял одежду, чтобы можно было плыть в море, оставив на шее брюки, в которых были у меня на всякий случай 400 руб.), в этой одежде Адама я ждал дальнейшей участи.

На палубе «Очакова» я был ушиблен каким-то тяжелым предметом и потерял сознание: что было дальше, я не помню. Я перестал сознавать чудовищную картину гибели славного крейсера и ужасной смерти героев, преданных сынов родины.

О дальнейшем мне рассказывал потом матрос-«очаковец».

После ликвидации революционного восстания черноморских моряков Чухнин отдал распоряжение: «Снять с крейсера «Очаков» остатки команды, живых и мертвых, приступить к тушению пожара». Около 10 часов вечера подошли паровые катеры и шлюпки к борту крейсера, на котором пожар прекращался; он был залит водой, хлынувшей в «Очаков».

В числе живых матросов был снят Частник, который, протестуя против зверского расстрела матросов, говорил мичману Холодовскому:

— Если вы нас так жестоко убиваете теперь, то мы вас не пощадим другой раз. Вы будете судимы грозным судом народа; за нашу кровь вам отомстят другие.

При каких условиях я был снят с «Очакова», я не помню, и как меня привезли на «Ростислав», тоже не помню. На «Ростиславе» я пришел в себя и заметил, что я весь красный,—видимо, я еще плохо соображал, и мне казалось, что с меня сняли кожу.

Я попытался восстановить в памяти: когда же с меня сняли кожу? и кто занимался этой удачной операцией? Почему же я не чувствую боли?

Я ничего не ощущал, кроме сильной головной боли.

Я пытался себя щипать, кусать и все-таки не чувствовал боли и вторично лишился сознания на верхней палубе «Ростислава».

Поздно ночью я проснулся от тяжелого обморочного состояния и стал соображать, где я, и что со мной. На мои вопросы товарищи ответили мне, что у меня было продолжительное обморочное состояние, что мы все находимся в трюме «Ростислава»; в трюме было темно.

На мои вопросы, что со мной делали, и как я попал сюда, Частник мне ответил:

— С крейсера «Очаков» снимали убитых, раненых, даже куски мяса разорванных матросов, и все то, что было на палубе, бросалось в паровой катер, как негодный мусор, в том числе был брошен и ты; тебя, очевидно, приняли за труп, и ты был брошен в кучу кровавой массы, где ты и перепачкался в крови; вот тут ты и получил красную окраску... Вчера ты, очевидно, думал, что с тебя сняли кожу, так как ты неистово кричал: «Где моя кожа?»... Ты думал, что тебя скальпировали, и мы думали, что ты сошел с ума, и, когда тебя бросили в трюм, ты много бредил, но о чем, мы не могли разобрать, и ты долго не приходил в сознание.

Я продолжал спрашивать товарищей, как меня принесли сюда.

— Принесли? Ты спрашиваешь, как тебя принесли? Принесли! Ха!.. ха!.. принесли его!—шутил матрос Симаков.

— Когда ты вчера стал кричать, что Чухнин снял с тебя «шкуру»,— продолжал пояснять мне Симаков,—тебя потащили в трюм за ноги по трапу, точно мокрый скатанный мат, да еще наградили несколькими пинками каблуков г.г. офицеры, когда ты лежал без памяти на палубе. Симулирует, мол, скотина... Вот так тебя и принесли...

Я ощущал сильную боль головы и позвоночника. Голова моя и тело были покрыты толстым слоем запекшейся крови, и вся эта засохшая кровавая масса стягивала мне тело; я хотел пить, кажется, за глоток воды дал бы часть своей неприглядной жизни, но воды не было, и нам ее не давали.

Мне также рассказали товарищи, как нас принимали на «Ростиславе». Г.г. офицеры и даже матросы, преданные Чухнину, били положительно всех.

Над «Красным лейтенантом» издевались на «Ростиславе», били по лицу, плевали в лицо, топтали ногами, пуская самую гнусную ругань по его адресу, говоря:

— Ну что, командир революционного Черноморского флота, спас тебя твой народ? Где же твоя мерзкая чернь, с которой ты целовался?

— Отравить его!—кричали пьяные голоса озверевших офицеров.

«Красный лейтенант» с сыном были посажены в бронированный каземат, где он и лежал на железе, избитый до полусмерти.

Измученные переживаниями, мы страдали от жажды, в каждом углу абсолютно темного трюма были слышны стоны и мольбы: «Воды!.. воды!.. пить!.. пить!.. я умираю!.. ой!.. ой!.. я задыхаюсь!..»— были слышны мне предсмертные стоны тяжело раненых матросов.

Эта ужасная картина пережитого тяжело отразилась на психике, и мне казалось, что некоторые сходили с ума.

Так мы просуществовали около суток, когда от нас взяли тяжелораненых, отвезли, не помню в какой госпиталь, а мы остались в том же трюме, около 50 человек, без воды и хлеба, ждали своей

горькой участи. На другой день нам выдали хлеба и воды, мы подкрепились и стали приводить в порядок обрывки своих мыслей; особенно кошмарно на меня действовало то, что мне пришлось быть приваленным трупами и кусками кровавых тел своих товарищей, которые так смело и гордо защищали интересы революции два дня тому назад и так славно погибли героями за свои идеи.

Нам дали свет, и мы могли различать друг друга и начали успокаиваться; к нам в трюм привели еще «очаковцев», в числе их был Антоненко, пойманный на Приморском бульваре и находившийся до настоящего момента в каком-то трюме; он легко отделался от издевательств, его совершенно не тронули.

Помню, матрос Симаков шутил над моим бредом и говорил:

— Ты что думал, что твоя шкура понадобится Чухнину на чучело? Нет, дружище, Чухнин знает, что тебя надо представить на тот свет в собственной шкуре... Пожалуй, бог не простит Чухнину, как это видно из картины страшного суда, что и акулы, проглотившие человека, изрыгают его на страшный суд в том виде, в каком они его глотают... Да, много Чухнину придется изрыгать человеческих жертв на страшный суд,—говорил Симаков про себя.

Сколько погибло во время расстрела «Очакова», мы до сего времени не можем восстановить, да едва ли и удастся это когда-нибудь.

Каждый в отдельности старался предугадать свою дальнейшую участь. Один говорил, что наша судьба предрешена Чухниным на Северной стороне без суда и следствия... Другие говорили, что жестокость Чухнина дошла до кульминационного пункта, и он нас, очевидно, соберет в какую-нибудь гнилую баржу, вывезет в море и отправит на с'едение морским обитателям: китам, акулам и всем тем, кто будет непрочь полакомиться нашими грешными телами. Такие слухи пускали сами офицеры в различных формах. Ходили слухи такие, что нас взорвут. Нам только оставалось примириться с мыслью о смерти и ждать своей участи. Другие говорили, что нас должны судить, и тогда только проявится воля страшного палача.

Многие из нас были в костюме Адама, и нечем было прикрыть наготу.

Я стал приводить в порядок свою больную голову. Запекшуюся и высохшую кровь на голове я начал постепенно сдирать, расчесывать волосы пальцами и освобождаться от кровавой массы. Так проходило время, медленно и мучительно. Единственным утешением нашим было то, что в нашем трюме было тепло: за нашей переборкой было машинное отделение, и железные переборки быстро нагревались.

Мы жались около переборки; сушили наши «одежды Адама».

Конечно, я был очень доволен, что у меня осталась собственная кожа, которую, мне казалось, что Чухнин снял... и, кроме того, у меня уменьшилась головная боль, и я чувствовал, что я буду здоров до того времени, когда нас отправят на баржу и взорвут в Камышевой бухте, как ходили слухи.

В светлом трюме и жизнь наша немного посветлела. Мы немного ободрились, на третий день мы получили относительно сносный обед. Видимо, Чухнин вполне удовлетворился кровавыми замыслами. Наша трюмная жизнь входила в привычку, мы уже стали забывать наши еще сочащиеся раны. Мы даже могли острить над собой. Помню, острил матрос Ковалев над моим адамовым костюмом, говоря:

— Твой адамовый костюм имеет четыре цвета: черно-сине-красно-желтый. Я тут только заметил, что мое тело все в синяках, но это уже не удивляло.

Занимающие караул над нашим трюмом матросы, не принимавшие прямого участия в вооруженном восстании, но и не являвшиеся, очевидно, нашими противниками, передавали нам в трюм самые сенсационные новости: нам говорили, что на Чухнина готовится террористическое покушение и что приговор ему уже вынесен.

Эти сенсации нас ободряли, и мы ждали каждый день, каждый час, что свершится правосудие над жестоким палачом Крымского полуострова и всего Черного моря.

— Собирайтесь с вещами!—была подана команда в трюм каким-то боцманом, видимо, каким-то негодяем, который хотел лишний раз поиздеваться. Негодяй знал, что мы не только не имели вещей, но половина из нас—совершенно голые, точно мы сейчас вышли из воды.

Караульные матросы нам говорили, что всех революционеров собирают в 31 флотский экипаж.

Конечно, мы были безгранично рады, что нас перевозят из этого стального гроба, и мы увидимся с остальными товарищами; я не могу себе представить и об'яснить, почему у нас было такое желание видеть друг друга.

В 31 флотском экипаже было собрано до 2.000 человек матросов, арестовывались все, кто попадал под руку патрулям; в тот момент подвергались аресту не только те, кто стоял в стороне от восстания моряков, но и те, у кого была возлюбленная, и он опаздывал на три минуты в экипаж, даже арестовывались и те, у кого была перечекчирена роба, и лента в 3 аршина, — все собирались в экипаже, и в том числе немало к нам приходило и сыщиков, переодетых матросами.

Но мы были довольны, что были вместе, и наша жизнь опять начала бить сильным ключом. Мы жили нашим внутренним морским миром, у нас было все общее: общий язык, общее мышление, общее понимание, общее стремление и общая наша родственная душа...

Ей богу! Сердце радовалось на нашу такую искреннюю братскую спайку и любовь друг к другу. Но вместе с тем сердце и болело за родину, или, если угодно, за святую Русь, беспомощную, бесправную; болело о том, что над родиной восседают книжники и фарисеи.

31 ф. э. был нашей общей тюрьмой. Там были «грешные» и «праведные». «Грешными» называли матросов-революционеров, а «праведными»—невинно арестованных...

Среди 2.000 человек матросов были и такие, которые не знали, что они делали вчера и за что их арестовали сегодня, а таких была добрая половина, а, быть может, и больше; думаю, что 70%.

Многие из них испугались массового вооруженного выступления, бежали совсем из города и где-то скрывались в окрестностях; их ловили и сажали с нами вместе.

Перед отправкой в экипаж нам выдали какие-то рваные тряпки рабочего платья, а в экипаже нам выдали первосрочные вещи и вообще полное обмундирование, мы уже были вполне «экономически удовлетворены».

«Праведные матросы» поддавались влиянию «грешных» революционеров и становились самыми непримиримыми революционерами. Они чутко угадывали биение сердца революционера, растворялись в этом биении и находили общую мысль и общие стремления, мы их уважали и помогали им разобраться и в теории социализма, и в практике революционного движения.

Правда, были и такие революционеры: приведу один из примеров, а таких примеров были сотни. Спрашивает матрос у матроса:

— За что тебя арестовали?

— Меня, братушка, арестовали за политические проделки,—отвечает последний.

— В чем же выражаются твои, браток, политические проделки?

— У, браток, у меня была вся чекчиренная роба. Погоны золотые и лента 3 аршина (у него была перешитая морская одежда не показенному, а по его усмотрению). Я все время находился на Малаховом кургане и прятался от выстрелов и армейских патрулей.

Вот таких «политических деятелей» было в экипаже $^1/_3$. И сознательные матросы их жалели; они были жертвами темноты, а многие прямо выказывали преданность Чухнину; таких матросов остерегались и часто острили над ними, что они—«чухнинские ударники», «чарочники» и «сахарники». Конечно, такому несчастному тяжело было среди дружного братства революционеров.

Но суровые меры Чухнина не останавливались; он вершил свою жандармско-творческую работу, арестовывались даже те, кто был предан ему, но только потому, что была «чекчиренная роба».

Наша жизнь в 31 ф. э. была переполнена молодым, здоровым смехом, богатырским сном на соломенных матрацах, песнями, играми, рассказами и всевозможными изобретениями насчет побега тех, кто чувствовал, что ему не избежать 3-линейной пули, а, быть может, и чухнинской «удавки».

Так проходила наша жизнь до начала следствия.

XIII.

Военное следствие разделило нас на три категории, на три группы.

Первой группой были зарегистрированные «очаковцы» во главе с «Красным лейтенантом». Во вторую группу собраны были матросы с различных судов, примкнувших к «Очакову» во время вооруженного восстания.

Третья группа — вся береговая команда, руководящая береговым восстанием.

Следствие над «очаковцами» тянулось долго, мучительно и особенно пристрастно, или, как говорили матросы, «скатывает во-всю».

Следственные протоколы читались самими военными следователями по их усмотрению и желанию, задавались такие юридические вопросы, на которые матросы отвечали, не понимая значения этого вопроса, расписывались и уходили до следующего вызова. Я помню, что я ответил не менее, как на 70 вопросов, и не имел представления, что мне подтасовали ст.ст. 100 и 51. Я расписался.

Нам казалось, что вся формалистика нужна только людям, занимающимся «серой канцелярщиной», и мы меньше всего думали о том, что нам подтасовывают самую скорую и позорную смерть.

Каждый из нас приходил от следователя военно-морского суда и делился своими впечатлениями, и нам казалось, что нас просто выспрашивают, что мы делали на «Очакове» во время восстания, и это нам многим казалось смешным и, пожалуй, глупым. Разве мы можем сказать, что мы делали?

Между тем, как некоторым из нас казались и не смешными вопросы, задаваемые военными следователями; нам определенно казалось, что мы уже подписали не протоколы, а смертные приговоры через повешение; последнее нам казалось особенно противным, лучше — через расстрел.

Помню, матрос Абрамов заметил:

— Фи, какая не «эстетическая» смерть — через повешение, лучше бы три раза расстреляли!

— Эй, ты, любитель эстетики! Ишь чего ему захотелось — «эстетики», — острил матрос Соловьев.

— Если ты не сумел показать Чухнину, как нужно жить при демократическом строе, то ты будешь удовлетворен тем, что покажешь язык Чухнину, когда тебя повесят,—острили матросы.

— Товарищи, — возмущался матрос Чебаненко, — напрасно вы стараетесь предугадать нашу смерть, пусть судит Чухнин ко всем смертям, какие он может только придумать, но пусть же мне даст хоть какой-нибудь «мат» прикрыть мою революционную наготу. (Почему-то Чебаненко долго не давали одежды, и он гулял по экипажу в «костюме Адама»).

Следствие велось и над матросами, не имеющими ничего общего с «очаковцами» и, видимо, подлежащими освобождению. Следствие

продолжалось каждый день, и каждый день приносились новости матросами, и наше тюремное общежитие пополнялось всевозможными курьезными рассказами.

Был допрошен матрос Токарев, кажется, 30 ф. э., который все время дезертировал и не сходил с пловучей тюрьмы; он был задержан, как политический, и допрашивался следователем.

— Ну, красный!—грубо и злобно задал вопрос военный следователь Токареву,—что ты делал во время восстания «Очакова»?

Токарев лукаво хихикнул себе в черный ус и подошел к следователю кошачьей походкой.

— Вашесокородие!—начал он,—напивался в дрезину, а перед арестом так напился, что меня отхаживали. Вы меня назвали красным только потому, что я все время дезертировал. Никак нет, вашесокородие! Я похож не на красного, а на редиску; ведь, редиска никогда не бывает красной внутри, а только сверху, напрасно вы думаете, что я революционер, я просто редиска, и этим меня сделала пловучая тюрьма.

Следователь, видимо, удовлетворился ответом «вечного дезертира»; сказал, что он будет освобожден, но, наверное, опять попадет на «пловучку».

— Ну, что ж, спасибо, вашесокородие! Дело это нам знакомое. Семь лет во флоте не прослужишь на одном месте, везде нужно побывать.

Вот таких типов долго в 31 экипаже не задерживали, а выпускали их в роты или просто налагали дисциплинарное наказание и отправляли на «пловучку» или в арестные дома.

Кормили нас сравнительно лучше, чем кормят вообще арестантов, и мы не особенно падали духом.

Бодрости, смелости и энергии—хоть отбавляй, хватило бы еще на несколько вооруженных восстаний. Среди нас нашлись хорошие голоса, и составились хорошие капеллы, которые вносили оживление в наш тюремный мир. И в этом отношении между нами была борьба: каждый этаж заключенных матросов старался побить рекорд песнями. Все 3 этажа подбирали хорошие голоса и стройно и гармонично пели хорами.

Пением мы будили спящих матросов и жестокие сердца брест-литовских и белостокских солдат; мы также напоминали о себе обывателям города Севастополя, а особенно Корабельной стороны, более родственной матросам, чем напыщенный город со своими блестящими мундирами.

Были и такие денечки, когда революционные песни стройным хором неслись и ко дворцу Чухнина, который издавал немедленно приказы по гарнизону: прекратить все песни в арестантском 31 ф. экипаже. И приказ немедленно исполнялся, и начиналась стрельба по окнам, и этим только прекращалось наше тюремное веселье на короткое время.

Полковником Думбадзе было сделано распоряжение: «каждый часовой получит 3 рубля за застреленного матроса, подошедшего к окну», что охотно исполнялось каждым караульным солдатом. Видимо, солдаты не удовлетворялись теми зверствами, которые они творили на Северной стороне, и тут ухитрялись получать по 3 рубля.

Достаточно было подойти к окну, чтобы грянул выстрел. Караульные солдаты, следя за арестованными матросами, напоминали мне птицеловов.

Так проходила наша жизнь в 31 ф. э.

Кроме того, в нашей жизни было много и «достопримечательностей». Часто к нам приводили под арест мнимых матросов различных экипажей: то Николаевского экипажа, то экипажа с надписью на ленточке «Дружок», то с какой-то лоцманской дистанции по измерению берегов... Одним словом, такие, которых мы положительно не знали; все эти мнимые матросы были не кем иным, как сыщиками различных проб. Они выведывали, что им было нужно, они проверяли убеждения доверчивых и смелых революционеров, собирали материалы для своих гнусных дел и под видом вызова на допрос к следователю уходили из экипажа.

Помню по рассказам Антоненко, сидевшего во втором этаже, как к ним привели арестованного матроса Николаевского порта с надписью на ленте «Дружок», который выдавал себя за революционера и был в дружеских отношениях с матросом Антошковым. Сыщику удалось узнать многое от Антоненко о его деятельности во время восстания.

Конечно, от этих «дружков» мы постарались отделаться, но было уже поздно: наши обвинительные акты были заполнены самыми точными материалами о революционной деятельности каждого в отдельности, и напрасно мы удивлялись, откуда собраны такие точные сведения. Мы забыли, что мы сами о себе говорили.

Нам было известно, что наше следствие не закончено и «очаковцы» должны быть куда-то переведены из 31 ф. э. Нам это было очень неприятно: нам крайне нежелательно было уходить от такой родственной семьи, какая была в 31 ф. э.

Видимо, нас торопились перевести ускоренным темпом, так как нам выдали еще по одному комплекту обмундирования первосрочных вещей, точно нас готовили на адмиральский смотр.

— Чует моя душенька что-то неладное,—заметил Гладков,—нас снабжают обмундированием, точно новобранцев, на 7 лет.

В первую группу «очаковцев» всего нас выделили 37 человек. Об'явили нам, что мы будем судиться во главе с «Красным лейтенантом»; к нашей группе причислили еще 2 студентов и одного рабочего.

— Куда же нас спрячут?—задавали мы себе вопросы.—А, быть может, о нас не будет ничего известно, так как до сего времени мы ничего не знаем, что с «Красным лейтенантом»?

Что будет с нами, и куда нас переведут, это нас беспокоило, но мы быстро свыклись с ударами нашей жестокой судьбы.

Нам было безразлично, куда бы нас ни спрятали; мы уже заранее предугадали, что нас ждет впереди... Хотя ходили упорные слухи, что нас увезут на пловучую тюрьму «Прут» и мы должны судиться военно-морским судом по военному времени. Этот суд нам казался ужасным судом, мы знали жестокость Чухнина.

Перед отправкой мы узнали, что отправляют нас на пловучую тюрьму «Прут», что «Красного лейтенанта» отправили в Очаковскую морскую крепость вместе с сыном; это нас успокоило—слухи, что «Красного лейтенанта» отравили, оказались ложными. Чухнина пугали упорные слухи, что Шмидту устраивают побег, что его кто-то хочет освободить.

Возможно, что последние слухи и были верны, так как Шмидта поторопились увезти из Севастополя.

Все эти сведения получались извне; много, конечно, было ложного, но кое-что и верно. Мы запасались мужеством и смелостью, и жизнь в экипаже в среде родственных душ продолжалась...

Несмотря на трехрублевые награды, получаемые думбадзевскими солдатами, мы продолжали свои излюбленные песенки. Ложились под окнами вдоль стен и стройным хором продолжали петь. Чухнин отдал распоряжение лишить нас пищи; мы были лишены пищи, но революционные песни петь продолжали.

Что нас лишили пищи, узнал город, много писали об этом газеты, но это не укротило Чухнина.

К нам опять начали приводить то мнимых матросов каких-то других экипажей, то солдат, принимавших участие в очаковском восстании, которые должны непременно судиться с матросами, — все это были опытные сыщики всевозможных рангов.

После ухода таких «революционеров» быстро выдергивали хорошие голоса и тем самым парализовали и хор. Также и следственный материал пополнялся новыми и более вескими обвинительными материалами, и, когда некоторых из нас вызывали и допрашивали, то вопросы задавались уже точные о том, что действительно приходилось делать в момент восстания; хотя мы упорно и молчали, но от этого наше положение не улучшалось.

Помню один довольно забавный случай перед тем, как отправить нас из 31 ф. э. Вдруг некоторых из нас вызвал военный следователь на допрос; мы решили не отвечать на вопросы следователя.

Матрос Осадчий отказался отвечать и говорил, что он ничего не видал и не знает. Следователь дошел до бешенства и уже собрался выгнать Осадчего, как вдруг неожиданно мягким тоном задал Осадчему вопрос.

— Осадчий! А ты читал прокламации?

— Читал!—вдруг отвечает Осадчий.

— Кто тебе их давал читать?

— Подшкипер Карнаухов; он хороший матрос, и все хорошо знают, что он был учеником лейтенанта Шмидта и хорошо нам все говорил.

Конечно, от такого лестного комплимента у меня зубы стучали, точно в лихорадке.

Были и другие не менее курьезные показания.

Следователь задавал вопрос матросу Вобликову:

— Что ты делал во время восстания на «Очакове»?

— Так что ничего не делал, — отвечал Вобликов.

— Ну, например, ты спал, что ли? или ходил, что-нибудь да делал?

— Так что ничего, вашесокородие,—упорствовал Вобликов.

— Ну, что-нибудь же делал?

— Нет, ничего не делал! Пил водку и ораторствовал.

— Ну, вот скажи: как ты говорил и ораторствовал?

— Я говорил матросам, что нам не нужно Чухнина, а вот водку николаевскую нужно, больно уж хороша наша флотская водка вашесокородие. Вот пьешь и чувствуешь, что у тебя на этой самой душе все хорошо обстоит, точно по этой самой внутренности ангелы босыми ногами прошли, вашесокородие!

— Ну, а еще что ты ораторствовал? Ну вот о низвержении существующего строя?..—старался следователь умасливать и выспрашивать словоохотливого Вобликова.

— Вот у нас больно неправильны боцманы, ваше высокородие, — больно уж любят мордошлепнуть, вон меня намедни боцман Клочков так шлепнул, что у меня лампы в очах загорелись... так что, ваше благородие, становится мне невмоготу переносить.

— Нет, я тебя спрашиваю не о боцманах, а о существующем строе, что ты говорил? — допрашивал пристрастный следователь.

— А! понял, вашесокородие, это о строе. Мне строевая служба больно не понравилась; больно дерется инструктор Журавлев, я даже падал в строю.

Видимо, следователь достаточно убедился, о какой политике мог ораторствовать матрос Вобликов, но, тем не менее, он подвел его под каторжную статью. Вобликов получил 7 лет каторги.

Так проходило наше следствие; жестокая рука ни перед чем не останавливалась; обрушилась даже на невинных, как Вобликов, который совершенно не понимал, что значит существующий строй. И таких судили, как преступников-революционеров, и осуждали на долгие годы каторги.

XIV.

— «Очаковцы», собирайсь с вещами и выходи в коридор!—была подана команда по экипажу.

Мы приготовились, простились с товарищами. Мы не говорили «до свидания!», а—«прощай!», прощались навек, ведь, в наше время после

разлуки едва ли можно встретиться, а если и встретимся, то только на том свете или в каторге.

— Прощайте! Встретимся на каторге!—кричали мы друг другу. И под усиленным конвоем нас отправили первоначально на гнилую угольную баржу. Куда нас отправят дальше, нам не было известно; мы терялись в догадках, отправят ли нас на «Прут» или в Очаковскую крепость к «Красному лейтенанту».

Но, судя по барже, едва ли можно допустить, что нас отправляют на «Прут» или в крепость; нам казалось, что нас отправляют в море за Константиновскую крепость, где мы покончим счеты с нашими мытарствами.

— Довольно с нами няньчиться и песни распевать, — заметил «философ». Философом называли матроса Дакунина, любившего устраивать всевозможные волынки и скандалы, не по отношению товарищей, конечно, но по адресу администрации.

«Философ» продолжал:

— Вот дали нам один общий вонючий гроб, и довольно... один гроб на всех, — мы люди экономные, нам гробов на каждого не нужно... спасибо и за это. Вот «прутовцев» без гробов зарыли, да еще в землю, а нас с почетом поднимут одной миной, и пойдешь к морским ракам и всякой там разной нечисти. Вот эта самая мина «Уайтхеда», или как там вы, минеры, называете, сильно, каналья, рвет,— «философ» показал руками в воздухе фигуру веера.—Во, брат, хорошо! Не останемся на земле, ведь, у нас у многих ее нет, а заниматься отчуждением без права выкупа тоже я не признаю; мы не признали национализации, социализации, реквизиции и муниципализации.

— А вот им пусть земля останется,—продолжал «философ», указывая пальцем на матросов, оставшихся в 31 ф. э.,—а занимать всем землю будет неэкономно для государства. Вот слушай, Федя (Симакова звали Федор), что я тебе скажу,—приставал «философ» к терпеливому Феде.—Нас, арестованных, 2000 человек, каждому по-христиански нужно 3 аршина. Это будет 600 квадратных сажен, это гораздо больше, чем мы в деревне занимаем душевого надела, да гробов нужно 2000 штук, это целая пристань понадобится, да еще плотников, гробокопателей, гвоздей, перевозка; дрогалей не уломишь дешево, они лаются, как подобает извозчику, скажут, что за перевозку этой мертвечины нужно дороже содрать,—вот и посчитай, сколько это Чухнину обойдется. Нужно, брат, экономить, а у нас политическая экономия плохо обстоит, а баржа, вот посмотри, совсем негодная, даже на дрова она ничего не стоит, а гробом может быть. Вот балтийские «смертники» дешево стоят — сами себе выкопали могилу и сэкономили на площади земли, и на гробах громадная экономия. Их зарыли без гробов в канаве, которую они сами выкопали по своему усмотрению. Вот истинные демократы. Экономия, брат... во всем нужна экономия.

— Чаго недозволительные слова говоришь? — крикнул караульный солдат, белостоковец, на «философа», намереваясь толкнуть его прикладом. «Философ» отступил вглубь баржи и освободил Симакова от «политической экономии».

«Философ» молчал недолго; как только конвойный солдат отошел на несколько шагов, «философ» вполголоса продолжал свои «экономические выкладки», удерживая за пуговицу того же Федю.

Похороны по-христиански ты не согласишься делать, а нам, морякам, нужно закопаться в море, непременно в морские волны, и по нашим костям не будут копошиться черви, а мы насытим морских обитателей своим краснокрамольным телом, жировым веществам нужно экономию, всюду нужно сало, дельфина штука хорошая,—на мыло; а, может быть, когда-нибудь и люди будут жарить, да еще за мое почтение. А что из того, что нас засыпят землей, насыпят курган, глядишь, кто-нибудь из пакостных чухнинцев придет да и напакостит... Нет, брат, лучше быть до глубины моря моряками!

— Да ты замолчишь? перестанешь разговаривать запрещенные эти самые слова?—вторично крикнул бешеный думбадзинец, щелкнув затвором и приготовляясь получить 3 рубля наградных. «Философ» испуганно, а вернее, злобно сверкнул глазами на своего противника и вынужден был замолчать.

Федя облегченно вздохнул, точно поднялся на самую высокую мачту для уборки «брасов»...

Баржу сильно ударило в какой-то боковой предмет, она вздрогнула, затрещала; непривычные армейцы-караульщики на верхней палубе повалились друг на друга, и один упал за борт, а мы чуть себе языки не прикусили от неожиданного и сильного толчка.

Упавшему караульному армейцу подали конец и, к величайшему сожалению, спасли.

Из трюма мы увидели, что наша «угольщица» пристала к борту пловучей тюрьмы «Прут».

Предусмотрительный командир буксира молча выразил протест против позорной перевозки близких ему людей, и он решил столкнуть за борт жестоких караульных, стоявших на верхней узкой палубе деревянной продолговатой гнилой баржи.

— Вот, брат, хорошо, так хорошо,—тихонько хихикал «философ» и был бесконечно рад, что караульщик упал за борт, да и мы все вполне разделяли радость «философа», жаль, что его вытащили, хотя его и тащили, как обыкновенно тащут мокрых собак. Но нам было лестно, что хоть один из них принял такую же морскую ванну, какую мы принимали во время расстрела «Очакова» на Северной стороне.

— У, людская сволочь! палачи!—ругался матрос Жигулин, ненавидящий всеми фибрами своей души брест-литовских солдат после того, как они хотели приколоть его штыками, когда он спасался с «Очакова». Жигулин вернулся обратно с Северной стороны, чуть

не утонул, выбиваясь из сил, добравшись до парохода-водолива, где он спасся, и где его сняли на «Ростислав».

— Приготовься выйти!—крикнул в трюм какой-то прапорщик, караульный начальник.

— Ну,—подумали мы,—держись, «очаковцы», мы попали к тому командиру и офицерам, которые были у нас заложниками на «Очакове».

Мы вышли из баржи на палубу «Прута»; нас принимал мичман Воронов.

— Становись!—командовал мичман Воронов; в этом голосе была слышна напускная строгость; мы были совершенно спокойны, так как нам было известно, что мичман Воронов был хорошим молодым офицером из красноватых, но трусливых; мы его называли «дипломатом»; видимо, «дипломат» был доволен, что ему пришлось принимать «шмидтовцев»; он нам сказал, что помещение сносное, где мы будем сидеть до суда. Караул будет над нами Брест-Литовского и Белостокского полков.

Мы поблагодарили за помещение, но караулу прямо заявили, что мы с думбадзовскими палачами не можем примириться. Заявили мы смело, так как мы чувствовали, что на судне мы имеем возможность не бояться «караульных армяков».

В стороне стояли офицеры, бывшие заложниками и уцелевшие каким-то чудом во время расстрела «Очакова». Они многих нас знали и особенно Антонснко, который заведывал заложниками; к нему подошел какой-то лейтенант, фамилию я не помню, и сказал:

— Антоненко ! Вот мы ролями сменялись, теперь вы у нас заложниками.

Частник заметил:

— Думаю, что ваше отношение к нам не будет таким, как мы относились к вам...

Лейтенант замолчал, отошел в сторону к офицерам и, видно, не особенно лестно о нас заговорил.

Приготовленное нам помещение было вполне сносно: на жилой палубе были поставлены железные кровати, какие дают нам в экипажах, с матрацами, набитыми сеном; удобства также изолированы от жилого помещения, и мы сами положительно изолировались от всего; часовые были видны только под нашими прочными окованными люками.

Видимо, Чухнин предусматривал, что это не последнее вооруженное восстание, и для революционеров была специально оборудована пловучая тюрьма.

В нашем железном каземате были предусмотрены все удобства. Большой вентилятор с автоматической закрышкой, умывальник для заключенных, и особенно много по всем направлениям трюма было проведено за деревянной редкой обшивкой пожарных кранов с конусными наконечниками.

Обед нам давали в отверстие люка одновременно с командой из общего командного котла; подавали матросы.

Помещение, нужно отдать справедливость, было вполне удовлетворительно. Мы уподобились рыбам, брошенным в железный аквариум с стеклянным верхом.

Тюремная администрация имела неограниченную власть над арестованными. Все наше существование зависело от командира пловучей тюрьмы. Караульная администрация была сухопутная. Караульные солдаты, эти тупоумные жестокие сердца, положительно, издевались своей строгой дисциплиной: мы не должны были стоять против люка, смотреть в люк, и даже запрещалось смотреть на этих тупоумных.

— Товарищи! Вы посмотрите на эти тупоумные рожи,—возмущался Жигулин.—Они смотрят в наш трюм, как-будто хотят нас гипнотизировать своими холодными бессмысленными глазами... Или вот на эти черные страшные глаза.

За короткое время сидения в трюме мы превратились из молчаливых рыб, в рыкающих львов, снующих взад и вперед по своей клетке, злобно посматривающих на решетку. Разница между львиной клеткой и нашей была такова. Львиная клетка обычно устраивается с большим доступом воздуха и света, мы же этого были лишены. Наш трюм на 37 человек имел доступ света сбоку через 1½ квадратных аршина, и в редкие дни мы видели солнце сквозь толстые стекла и толстые решетки. Имелось по 3 иллюминатора с той и другой стороны. Эти маленькие глазенки давали нам не больше одного квадратного аршина света. Вот весь дневной свет, которым мы пользовались в трюме; доступ воздуха был в большой вентилятор, который совершенно не удовлетворял нас. Мы часто по-очереди втыкали в иллюминаторы свои физиономии и дышали воздухом и, вместе с тем, простужались и получали хронические насморки.

Обстановка нашего трюма состояла из одного большого стола по середине, кроватей, заменявших нам скамейки, и умывальника с медным тазом, где мы устраивали стирку белья и умывались.

В пожарном отношении мы были гарантированы, как я уже говорил по поводу большого количества кранов; на самом деле это было не так, как мы предполагали, и это читатель увидит ниже.

Двигаться мы могли только по трюму, и мы вовсе не двигались.

Морской борщ и гречневая каша сделали свое дело; пища нам дала возможность залечить нашу цынгу, полученную от недоеданий, благодаря всевозможным скитаниям.

Мы были удовлетворены пищей, и многие из заключенных начали жиреть, напоминая домашних животных, брошенных в яму, которых умышленно питают и оставляют без движения. Так кормят животных на убой.

Так точно кормили нас, но оставляли без движения: мы дальше своего тесного трюма хода не знали, толкались между кроватями и лежали на них.

Мы просили 10 минут прогулки в два дня, чтобы увидеть солнце и несколько подышать свежим воздухом. Нам было в этом отказано. Караульный начальник с испугом отшатнулся. Он говорил:

— Что? Выпустить вас на 10 минут? Это значит, весь караул будет за бортом, а вы на Северной стороне, или придется караульному начальнику прогуляться до Сибири? Нет, нет, не допущу!

Жизнь состояла в том, что мы едим, пьем и спим по 18 часов в сутки. Сон был для нас потребностью, а, вернее, болезненным состоянием или болезненной привычкой.

Очень редко мы получали газету: кто-то из команды бросил нам 2—3 газеты за все время, из которых мы узнали, что балтийские матросы восстали против существующего строя и выражали протест против нашего расстрела и ареста.

Удивительная предусмотрительность морских тюремщиков оказалась несостоятельна. Они оставили большой вентилятор без решетки; видимо, морские тюремщики недостаточно знакомы с арестантской жизнью; вот отсюда-то нам и удалось получить газету. В это же отверстие изредка бросается и табачек. Мы аппетитно затягивались махоркой и бесконечно благодарили неизвестного нам благодетеля. Мы допускали мысль, что это делал знакомый нам «дипломат».

Помню, была брошена записка в наш почтовый вентилятор, написанная четко грамотной рукой, содержащая в себе самую «сенсационную утку» — яко бы суд над «очаковцами» во главе с «Красным лейтенантом» должен быть народным судом на площади, где бы нас могли судить открыто перед народом. Эта «сенсационная утка» так и осталась уткой, но мы были бесконечно рады.

Такие сведения нас, положительно, ободряли. Мы приносили бесконечную благодарность тому сочувствию, которое где-то теплилось в человеческом сердце. Мы ободрялись и жили надеждой, что там, за пределами нашего темного трюма, есть человечество, которое думает о заживо-погребенных.

Сидя в трюме, мы совершенно потеряли счет дням и числам; мы ломали головы и старались установить в памяти число или день, ссорились между собой и решили, что нам это не нужно знать: будем жить, как нам диктует караульный солдат, стоящий призраком над нашим люком.

К нашему люку приносили обеды и кипяток матросы, мы задавали им ничего не значащие вопросы, на которые они охотно отвечали; мы им были благодарны за это. Но были и такие матросы, которые совершенно молчали, как быки, и злобно смотрели на нас. Конечно, мы не упускали послать по их адресу кругленькие, как вал, словечки.

Таких матросов мы называли «чухнинскими голяками», и тут же старались послать «голяков» за вторичным обедом, предварительно вылив из бака в помои. Кричали: «Даешь борщ! даешь еще каши!»,— и «голяки» приносили добавочный борщ и кашу, и мы усиленно питали свои растянувшиеся желудки. И, если нам давали хорошо смазанной гречневой каши, излюбленное блюдо хохлов, то мы с трудом поднимались от стола и тут же ложились на кровать, выключив паровое отопление, так как было жарко и душно после сытного обеда.

— Удивительная душа у нашего брата-моряка,—глубокомысленно заметил наш «философ», аппетитно потянувшись на кровати после сытного обеда, лениво ворочая языком, чуть-чуть приоткрыв сонные глазки,—право, удивительные мы человеки. Ко всему привыкаешь, ко всему приспособляешься и со всем миришься. Помнишь, Антоненко, мы выработали 19 экономических требований в день убийства адмирала Писаревского, из них экономических 15 и политических 4[1], и мы не были удовлетворены и послали телеграмму Николаю II—давай нам, мол, Учредительное Собрание, а иначе мы об'явим Крымскую республику на татарском полуострове?.. А теперь вот удовлетворяемся гречневой кашей, вот давитесь теперь, хохлы, «гречухами»,—продолжал он трунить над хохлами, которых было в 8 раз больше, чем кацапов. Тут же начиналась полемика и переходила в дружелюбную ругань, от которой у простого смертного волосы дыбом стали бы.

Великороссов в Черноморском флоте очень мало—не больше 10%, а 90% малороссов; в Белостокском и Брест-Литовском полках 90% великороссов, и достаточно было произнести слово, что хохлы служат в Брест-Литовском полку, чтобы вызвать хохла Жигулина до исступления против кацапов, брест-литовцев.

Матрос Жигулин, малоросс, молодой, с 1903 года, без всякой политической подготовки, ни над чем серьезно и глубоко не мог задуматься благодаря своей пылкой необузданности, он только верил хорошим товарищам и готов был принести свою голову на плаху. Жигулин был смелым и без границ злым, а, вернее, нервным. Мы его называли «конокрадом» только потому, что он обвинялся до службы в краже своей собственной лошади; рассказ Жигулина не интересен, и я не буду им занимать внимание читателя. Скажу только, что во всех полемиках, скандалах «конокрад» и «философ» принимали участие.

---

[1] Требования матросов и солдат, расклеенные по г. Севастополю накануне восстания, заключали в себе 17 пунктов, при чем очень трудно разграничить пункты политических требований от экономических: требовались отмена военного положения и смертной казни и увеличение жалования; кроме 17 пунктов, 2 пункта общероссийских требований—созыва Учредительного Собрания и 8-часового рабочего дня и 4 пункта дополнительных требований хоровых музыкантов Черноморского флота севастопольского гарнизона. *Ред.*

— Ваши хохлы проиграли восстание,—орали кацапы,—нужно было послать заслон на Перекопский перешеек, вот и не пустили бы Меллера-Закомельского...

— Нет, это ваши кацапы изменили нам и продали за 2 куска сахара и 1 р. 10 коп.,—кричали упрямые хохлы.

— Довольно вам о Перекопском перешейке,—удерживал квартирмейстер Родионов, трусивший, когда вопрос поднимался о предполагаемой тактике восстания.—Вон какие уши у Чухнина, как только услышит, так и будет дополнительное следствие. Чего вам еще нужно? Наши требования удовлетворены борщем и кашей! Будь доволен!

— Что, на «кожу» хочешь выслужиться?—кричал «конокрад», не любивший трусливого Родионова.

Так продолжалась перебранка между заключенными, пока не загремит верхний люк, откуда несется роковое «слушай»!

— Чего зарычали, тюремщики?—орал караульный армяк, щелкая затвором.

— Чего боишься политики, как бык красного, сахарная душа?— вступал в перебранку с армяками «конокрад», обкладывая часовых семипалубной руганью и готовый броситься на штык караульщика.

— Ну, довольно тебе вести с ними «политику»,—успокоительно уговаривал Антоненко разошедшегося Жигулина, уводя его в глубь трюма.

— А вот скажи мне, как ты думаешь, расстреляют нас или нет?— почти каждому из нас задавал вопрос Антоненко. Он чувствовал, что ему придется умереть, не увидев своих красавцев-сыновей.

Жигулин что-то отвечал ласковому Антоненко, а тем временем закрывался люк, и мы избегали лишнего выстрела в трюм.

Невольно закрадывается желание сказать, какую громадную ошибку мы сделали, что в наше время не познакомились с арестантскими этапами до военной службы.

Я помню, когда я был принят на военно-морскую службу, я сказал себе:—я кандидат в тюрьму, и, когда меня спрашивал кто-либо из знакомых, сколько мне еще служить, то я свою службу множил на 3, говорил: «21 год». Я немногим ошибся,—мне каторги дали 20 лет, как мы увидим дальше из нашего рассказа.

Тюремная жизнь надоела со своими тесными углами, хочется видеть солнце, гладкую или бушующую поверхность моря и все то, что окружает наш железный гроб. Мы уже не видели два месяца солнца, а трюмная жизнь страшно действует на психику.

Мне казалось, что я улыбнулся бы по-детски солнцу и солнечному дню; казалось, забыл бы мрачные думы и бронированный каземат.

О, дорого мы дали бы за 5 минут прогулки, чтобы посмотреть на красоту природы, которая так манит из нашего темного, мрачного

трюма. Но мы были совершенно лишены этого блага, нам давали электрический свет в пасмурные дни, и это нам было солнцем.

За побег из пловучей тюрьмы караульные не беспокоились; они знали, что проломать бронированный борт невозможно, а, если бы и представилась возможность при инструментах, то каждый удар в борт детонировал бы по всему корпусу пловучей тюрьмы; следили исключительно за люком и иллюминаторами.

Бежать через иллюминаторы тоже невозможно, так как через них пролезали только наши головы, что же касается нашего туловища, то нечего и думать — мы так растолстели, что у многих из нас нога не пролезала в иллюминатор.

Правда, желание бежать было неудержимое, а особенно после того, как нам передали запиской, что арестованные матросы из 31 ф. э. бежали: мы были очень рады за товарищей, а особенно за удачный исход побега.

Что было для нас неизгладимым утешением, так это сильный шторм. Самый сильный шторм доставлял нам колоссальное удовольствие; мы были от души рады, что наши «душе-душители» и «тело-держатели» не выносят качки.

Помню один декабрьский шторм, он так кидал нашу пловучую тюрьму, точно хотел сорвать с мертвых якорей и выбросить на берег, быть может, тогда бы крышка стального гроба открылась, и мы вышли бы, заживо погребенные.

Этот шторм продолжался около 20 часов. Мы наблюдали за караульщиками и за нашими кроватями, гуляя группами по трюму. Мы садились на кровати и катились по трюму, точно на санях, с одного борта на другой. Крик, шум и веселье наполняли наш мрачный трюм. Мы подкатывались друг к другу, делали комические трюки и смеялись над глупостями собственного изобретения здоровым, молодым, сильным смехом.

Благодаря шторму, караульных армейцев часто сменяли. Они закачивались до полусмерти, но не сходили со своего поста. Они ползали по палубе, держа винтовку окоченевшими руками; одни стонали, точно им зубы дергали с челюстями, другие как-то мычали и закусывали нижние губы до рубцов, а третьи кричали на своем татарско-русском языке: «Аллах, помереть... будем!».

Мы острили, как кто умел, отпускали самые сильные эпитеты по их адресу и доводили их до бешенства; они щелкали затворами и стреляли в трюм, но мы были хорошо защищены стальной палубой. Многие были так довольны бесплатным развлечением во время шторма, что становились на молитву и просили у бога только шторма, а «конокрад» положительно торжествовал, он выкидывал, что называется, аттракционные номера кинематографических новинок.

Не менее караульные получали и от команды «Прута»: убирая палубу, прутовцы совали швабрами в рожу и пускали отборную

ругань, свойственную моряку: «У, сахарники! Человекогубители!» и потихоньку заканчивали Чухниным. В 1905 году среди матросов была общая терминология: какой бы 12-балльной руганью ни ругался матрос, он непременно заканчивал Чухниным, как когда-то извозчики ругались Пуришкевичем.

Помню один случай, который нам был передан матросами. При уборке палубы, загаженной армейцами во время шторма, матрос мыл швабру за бортом, и у него снесло ветром за борт фуражку; этого было достаточно, чтобы матроса могли товарищи назвать «корабельной бабой». Конечно, бешенству матроса не было границ. Из-за какого-то сахарника потерять фуражку.., и матрос совал шваброй в морду валявшимся армякам, пока его не спустили в карцер за такое нежное обращение.

Матрос помнит о своей фуражке, как о больном зубе. Как бы он ни был пьян, но фуражку он не потеряет; если он чувствует, что он «отдаст 4 якоря» (свалится от опьянения), то прячет фуражку за воротник форменного платья; конечно, он ее превратит в самый безобразный вид, но он на судно вернется в фуражке.

За известный период тюремной жизни среди нас появились рассказчики, куплетисты, декламаторы, стихоплеты, литераторы трюмного журнала, каррикатуристы, танцоры и комики, не говоря уже о том, что мы хорошо спелись, и у нас были хорошие голоса.

Прости меня, читатель, за ничего не значащие воспоминания; они, конечно, кажутся тебе детскими и смешными, но они вытекли из мрачного трюма, где жизнь была ничего не значащая и смешная.

Правда, не забудут караульные армяки, как им пришлось караулить «шмидтовцев», или, как они нас называли, «царских преступников».

Конечно, не забудем и мы выстрелов «по зверям», как говорили армяки, а также не забыть нам и фонарных ящиков (карцеров), которыми мы награждались за наши шалости.

Было известно из частных слухов, что Думбадзе просил Чухнина заменить караул по пловучей тюрьме в виду морской болезни часовых. Чухнин ответил:—«Очаковцев» могут караулить только преданные своему царю и отечеству солдаты Брест-Литовского полка, а моряки — это все волки в человеческой шкуре.

XV.

Прошло уже 3 месяца нашего существования в трюме, мы чувствовали себя уставшими от трюмной жизни; наши лица сильно побледнели без воздуха и солнца, и мы как-то одичали и отупели.

Неизвестность, что будет с нами, сверлила наш мозг и ложилась тяжелой гирей на наши души.

Заслуги перед родиной и революционным движением давали нам бодрость и утешение, а жестокость чухнинского режима с каждым

днем все более угнетала и унижала достоинство человека, имеющего право на свободную, всестороннюю жизнь; однако, как ни тяжело отражались на нас удары судьбы, но мы не забывали о своем «Красном лейтенанте».

Мы не были им разочарованы, мы с искренней, дружеской, братской любовью думали о нем и глубоко ему верили. Все чувствовали к нему глубокое обожание, и имя П. П. Шмидта произносилось среди матросов с благоговением...

Во время наших тяжелых переживаний ему не было брошено ни одного упрека.

Сын «Красного лейтенанта», Евгений Петрович, или, как мы его называли, Женя, пользовался тоже уважением среди матросов 1905 года, как юный 17-летний герой, не покидавший славного «Очакова» и отца до последней минуты.

По каким-то соображениям следственной комиссии от нас отделили С. П. Частника, студентов Пятина и Моишеева и рабочего Ялинича. Эти 3 товарища случайно попали к нам на «Очаков», были привлечены по делу «Очакова» и понесли тяжелое наказание— по 10 лет каторги[1].

Они сидели до суда в отдельном трюме, а Частника, положительно, изолировали от всех нас и студентов, держали, как весьма опасного революционера, проповедывавшего социальные идеи по евангелию; вообще, он строил свою пропаганду на религиозной основе.

Как ни старались изолировать нас друг от друга, но мы верили в нашу взаимную преданность и твердость в общем деле.

Благодаря нашей молодости, полной сил, мы стойко выносили все удары судьбы. Мы иногда забывали тяжелые испытания, и нам все казалось только сном.

Нами были осмотрены, измерены и пересчитаны в трюме не только пилерсы и обшивка, но, кажется, и болты и заклепки. Не было ни одного отверстия или двери, которые не были бы нами проверены.

Все это измерялось, примерялось не только глазомерно, но и на практике. Мы совали головы, руки, ноги—не пролезет ли человек.

Давно нами было замечено отверстие в нашем большом вентиляторе, но мы не решались лезть по этой вертикальной скользкой трубе из-за двух причин: боясь попасть часовому на штык или сорваться и сломать себе шею. Размер вентилятора был около 10 вершков в диаметре, и, по нашим соображениям, судя по стуку на палубе и изредка доносившемуся запаху жареного, над нашим трюмом имелся провизионный ящик кают-компании. Мы решили убедиться в действительном существовании провизионного ящика г. г. офицеров, не обращая внимания на то, что это сопряжено было с боль-

[1] Рабочий Ялинич приговорен был к бессрочной каторге. *Ред.*

шим риском для жизни: «Убьет собака на месте, и в трубу не попадешь!».

Мы решили положиться на наше: «авось не убьет или промахнется...».

— Ну, друзья, смелые стратеги выигрывают сражение,—решили мы.

Охотников на эту рискованную затею было немного; если и были охотники, то они были так толсты, что не могли пролезть в узкое отверстие.

На эту смелую вылазку вызвался Жигулин; он вполне соответствовал и по толщине, а, если и убьет собака, то плакать по нем некому.

Конечно, мы твердо были убеждены, что провизионный ящик на судах для кают-компании никогда не был пустым, там всегда имелись всевозможные закуски, а вернее, гастрономический склад с ренсковым небольшим погребком.

Соблазн был велик, а в особенности, когда «философ» начал пересчитывать всевозможные закуски и особенно останавливался на морской водке желтоватого цвета.

— Вот, брат, не мешало бы поживиться господскими деликатесами!... — соблазнял «философ». — Там имеется — сыр швейцарский, осетра, балык тешки, тамбовские окорока, московские всевозможных сортов колбасы, крымская брынза и сливочное горное масло, разная дичь: утка жареная, курица вареная, индейка, а самое главное — так это «желтуха» наша флотская, и я уверен, что не меньше ведра, — продолжал он соблазнительно шептать на ухо Жигулину.

От такого соблазна у Жигулина разгорелись глаза, он порывисто сорвался с конца стола, на котором сидел, и крикнул: «Я полез!».

Задумано—сделано. Быстро стали 3 человека пирамидой, на плечи взобрался Жигулин, — и голова с плечами тесно влезла в вентилятор, и верхние края вентилятора скоро были в цепких руках нашего смельчака.

Ночь способствовала ему своей непроглядной темнотой. Без стука герой наш очутился на палубе. Предусмотрительный экспроприатор захватил с собой дюймовый кусок железа, отломанный от кровати: это служило верной отмычкой для всякого замка.

Прислушался... тишина могильная. Часовой греется у машинного отделения и сладко дремлет от незаметного качания пловучей тюрьмы: ему снятся остатки от нашего обеда, которыми их кормили.

Сломав замок, Жигулин стал освобождать провизионный ящик от содержимого, тихонько бросая в трубу на подставленное одеяло. Всего оказалось в достаточном количестве: консервы, масло, сыр и холодные мясные закуски; кроме того (наше предположение было

верно) там оказалась и водка в полутораведерном боченке, совершенно новеньком, еще пахнувшем дубовой клепкой.

Характерно то, что наш смелый экспроприатор не потoропился раньше бросить в трюм водку; пока он не забрал все продукты, он не трогал «бесценную ценность».

Боченок оказался с краном; одеяло держали слабо два человека; думали, что, кроме уток, масла и консервов, ничего не будет падать.

Вдруг грохнул на пол боченок с содержимым, и одеяло вырвалось из рук, боченок дал большую трещину, и с быстротой молнии, шурша по трубе, упал на корточки и наш «реквизитор». Водка течет... жаль, очень жаль, но наша тюремная жизнь нас умудрила: наскоро был вытерт таз от умывальника, и боченок был положен в него. «Желтуха» сохранилась до капли, а на палубе была тоже наведена образцовая чистота, пролитое было собрано платками и выжато в кружку.

— Вот, брат, наша человеческая мудрость — нам не нужно подводить подводный пластырь под пробоину, — острил «философ», применяя морские термины.

Прислушались, нет ли какой-либо тревоги на палубе. Нет! Кристально чистая работа не оставила после себя ни стука, ни шороха, ни тревоги. Кроме пустого провизионного ящика да изуродованного замка на беспомощном кольце.

Нашего смельчака обнимали, заключенные говорили ему вполне заслуженные им комплименты; и Жигулин был героем «темной декабрьской ноченьки»; некоторые любители лизали палубу, сталкиваясь лбами.

О, терпеливый читатель! Если бы ты мог видеть довольные «рожицы», то ты бы подумал, что мы выиграли социальную революцию.

— Вот, брат! Всегда слушайся меня, — человеком будешь, я не ошибусь в политической экономии!..—начал, было, «философ».

— Ну, довольно тебе об экономии! — протестовали голоса заключенных. — Ты нам лучше скажи, Жигулин, что там оставил в ящике?

— Все до крошки реквизировал... оставил один лук. Пусть им горько естся, если сладко живется. А вот вы, черти, испортили боченок!—ругнулся Жигулин на приемщиков Блинова и Плетнева, занимавшихся излюбленным делом (они мокали пальцы в таз и обсасывали их)... Мы удивились, что Жигулину нужен был боченок, в то время как его следовало бы разбить и выбросить в иллюминатор, чтобы он не мог служить доказательством на случай обыска.

— Ну, черти! Вы упустили самое важное из вида. Боченок мне мог бы служить спасательным кругом, если бы я вздумал проплыть на Северную сторону, а на палубе не видно ни одного круга, я это заметил; очевидно, спрятали.

Мы были вполне согласны с доводами Жигулина. Если это можно сделать сейчас, то завтра будет уже поздно.

Все добытые продукты были нами распределены на 35 человек поровну, за исключением «конокрада», получившего за самоотверженную смелость двойную порцию не только с'естных припасов, но и водки.

В боченке оказалось около ведра водки, которую мы разделили эмалированной кружкой поровну; приблизительно нам досталось по полторы сотых.

В трюме водворилась могильная тишина, и мы подняли бокалы за реальное начало великой русской революции Черноморским флотом во главе с «Красным лейтенантом»; мы выпили большим глотком часть нашего вина, и реквизированные «господские деликатесы» быстро подверглись уничтожению, точно мы боялись, что у нас их отнимут.

Некоторые не утерпели продолжить удовольствие вторыми глотками и «хлопнули» доставшееся им на долю; конечно, не видевшим долго водки, а особенно морально уставшим, быстро вскружило голову и развязало «нашей братве» языки. Смелость и гражданское мужество увеличились во много раз. Что касается «героя» нашей трюмной жизни и сегодняшнего торжества, он был настолько пьян, что сумел бы притащить не только продовольствия, но и ненавистного «караульного армяка» в вентиляторную трубу.

— Вот мне хочется армяка притащить,—настаивал «герой», собираясь лезть в трубу, но ему никто не оказывал помощи. —О, каааак бы я его... выдралл... я бы воот... этим смоленым линьк... ом... Раз... когда... то драааал меня Каранфилов 10 фун-тоо... вой ру...у...ккой...—с трудом выговаривал «конокрад».

Излюбленные «господские деликатесы» уничтожены были мгновенно, за исключением жирной утки, которую решили оставить больному товарищу, хотя он также принимал активное участие в нашем пиршестве. Мы не хотели оставлять вещественных доказательств, и больной товарищ предложил сегодня же уничтожить жирную утку.

— Да, брат, что матросу попалось в руки, то не вырвешь кошкой. Скорее у матроса можно вырвать челюсть с зубами, чем водку,—заметил «философ», прижав в угол кровати терпеливого Симакова и что-то усиленно ему доказывая.

Чья-то находчивая голова оторвала таз от рукомойника и, выстукивая музыку, вызывала противника на «чечетку», исполненную очень художественно Сазоновым.

В трюме стало дико весело. Музыкальный инструмент — помойный таз—в руках Саши издавал железные звуки какой-то дикой мелодии, и сам Саша изображал дикаря-литавриста.

Матрос Богач, подпевая сам себе, исполнял малороссийские танцы.

Удивительно то, что на этот раз нас не предупреждали часовые, несмотря на наш шум и пляски, как это они делали всегда...

Многие из нас напились, что называется, «до рая». Выступали все возможные ораторы, куплетисты, декламаторы, все говорили, но слушать было некому.

В ту же ночь было внесено предложение: требовать начальника плавучей тюрьмы и просить прогулку на палубе в 10—15 минут, хотя бы через день, и врача к больным.

Предложение было принято единогласно, и некоторые пьяные голоса уже кричали: — Даешь Пахана! Пьяных удержали и решили на другой день (помню, была суббота) вызвать начальника «Прута» и изложить ему наши скромные нужды: только дать нам прогулки 10 — 15 минут и врача.

С большим трудом удалось отложить наше коллективное заявление до следующего дня, так как пьяных было больше, и они настаивали требовать сейчас же начальника караула, но некоторым из нас удалось упросить отложить требования.

— Во, брат, жестокие, — философствовал «философ», — втолкнули нас в трюм, как животных, и за все время не удостоили взглянуть на наше трюмное существование.

«Философ» был глубоко прав; никто из начальства не потрудился заглянуть в наш трюм, никогда не являлся к нам врач или фельдшер, не спросил нас, больны мы или здоровы. Одним словом, тюремная администрация совершенно про нас забыла.

Немногие еще тянули и пригубивались к своим порциям, точно они хотели бы продолжать беседу за бокалами; об'яснялись в любви друг другу, обещали быть преданными и неизменными.

— Что бы нас ни встретило на нашей тюремной дороге, мы будем делить и горе и радость. Если же нас судьба погонит по различным дорогам, то тогда мы простимся навек; так философствовал Антоненко, который инстинктивно предчувствовал неизбежную гибель. Он говорил:

— Если мне дали бы бессрочную каторгу, то это была бы высшая награда для меня и моих красавцев-сыновей, но я чувствую, что мои дни сочтены, и самым тяжелым является для меня, кажется, страшнее смерти, то, что я не увижу детей.

— Ну, Антоненко, ты не падай духом, мы будем живы, и твои сыны сорвут с тебя оковы, и мы будем свободны, — успокаивали мы Антоненко.

Антоненко, очевидно, был при своем мнении, — потихоньку продолжал тянуть из своей большой кружки.

В это время другие тюремные обитатели достаточно «накренились» или «надрались в дрезину», обнимались, целовались, что-то пытались доказывать друг другу и, наконец, набивали носы друг другу, тащили один другого к умывальнику и заботливо мыли свои окровавленные физиономии, продолжая в то же время рассуждать о причинах неудавшегося вооруженного восстания.

— Вот нужно было бы взорвать «Буг», и мы здесь не сидели бы, и сажать было бы некому,—говорил заплетавшимся языком Плетнев совершенно расплывшемуся матросу Блинову, который усиленно старался доказать, что машина «Очакова» дала бы 40 узлов в час, и «Очаков» мог бы свободно уйти от чухнинской эскадры.

— А мина-то, мина на что?—доказывал кочегару Плетневу гальванер Блинов. Оба они были политические воспитанники Гладкова.

— Посмотри, Саша, там твои питомцы изображают новую машину. Быть может, можно будет уплыть из этой богом проклятой бухты,—острили над Сашей некоторые из матросов.

Саша Гладков болезненно улыбнулся и с грустью сказал:

— Я их готовил для вооруженного восстания, а теперь мне придется приготовить к пытке и в загробную жизнь, которая нас ожидает.

Постепенно кончался наш сытный, неожиданно полученный ужин. Некоторые ложились спать и предугадывали, что такой ужин им не скоро придется получить, а, быть может, и никогда более. А некоторые думали:

— Какой-то ценой придется заплатить за ужин?

Кое-где еще ораторствовали наши будущие «светила», а где-то в углу рифмовали подбор ругани и смеялись, что так красиво выходит.

Так была кончена наша историческая, последняя для Антоненко и Гладкова пирушка.

XVI.

— Берешь кипяток? Берешь хлеб?—кричал матрос, принесший нам завтрак, лукаво посматривая в трюм и на наши измятые физиономии и, видимо, понимая причину нашего долгого сна.

На палубе уже было известно о реквизиции, но терялись в догадках, кто мог это сделать; думать на команду никто не имел права, так как в истории флота не было случая, чтобы команда воровала из провизионного ящика. Часовые — караульные армяки. На них тоже не могли думать: так были забиты они палочной дисциплиной.

Значит, заключенные «очаковцы». Но как? и когда? Скандал. Как доложить командиру? Ведь, это пахнет уголовным делом. Как могли не заметить часовые?

Было начато следствие на судне; проверяли, на чьей вахте было сделано «преступление», кто стоял часовым из армяков, но все было тщетно; только мы могли бы установить, кто был часовой, и кто стоял на вахте, зная время, в которое была совершена реквизиция.

После чая наш дежурный, боцманмат Уланский, привел трюм в образцовый порядок и переоделся в новую фланелевую форменку с широкими боцманматскими золотыми нашивками; мы все прихорашивались для встречи командира, которого никогда не видели.

Мы были уверены, что нам дадут прогулку в 10 минут. Как же можно, чтобы наш командир отказал нам в такой ничтожной, но для нас весьма существенной просьбе!

Многие из нас прыгали от радости, что нам придется увидеть солнечный свет и подышать свежим морским воздухом, которым мы не дышали 4 месяца.

Хотя бы 5 минут на солнце побывать,—мечтали наши узники,— лишь бы на 5 минут выбраться из этого железного футляра. Мы ободрились, ожили...

После уборки по субботнему расписанию (кстати, сегодня и суббота) мы решили требовать командира и врача: в докторе мы не чувствовали особой нужды, а просто хотели напомнить г. доктору о его врачебном долге, так как за 4 месяца он не подумал о людях, брошенных в железную душную яму.

Требовать командира через караульных армяков,—мы никогда этого не добьемся. Решили требовать дружным криком из трюма.

— Командира просим!!!—дружно закричали мы над люком. Часовой как-то испуганно отшатнулся от люка и, услышав неожиданно громкий крик, взял винтовку на прицел; но убедившись, что мы мирно просим командира и доктора, передал по начальству; вместо командира пришел караульный начальник, какой-то прапорщик Брест-Литовского полка. Достаточно было нам увидеть форму армейского офицера, а особенно ненавистного нам полка, чтобы взвинтить наши расшатанные нервы.

— Чего орете, арестанты? — дерзко спросил нас грубым тоном офицер. Мы не могли удержаться, чтобы не ответить дерзко этому молодому хаму. Началась ругань, крики и свист. Стоя в глубине трюма, мы кричали: «Долой, хамский халуй!!! Долой, сахарник!» Мы продолжали кричать и требовать командира или вахтенного офицера.

Вместо командира и вахтенного офицера пришел наш знакомый трусливый «дипломат», мичман Воронов. Он вошел в трюм, и мы ему изложили свою скромную просьбу.

«Дипломат» внимательно выслушал нашу «коллективную» просьбу и сказал, что сейчас командира на судне нет, а как приедет, он немедленно доложит.

«Дипломат» посматривал на нас, оглядел трюм, заметил образцовую чистоту и как бы мысленно спрашивал: «Все подобрали и боченок выбросили?»... Мы также мысленно ответили: «Все выпили и с'ели, что нам послала непроглядная ночь».

Мы без слов понимали друг друга. «Дипломат» улыбнулся и вышел тихонько из нашего трюма; мы ему вслед крикнули: «Покорно благодарим!».

Наверху стоял «прапор» с обнаженным револьвером, с целою ротою караула: если «эти звери» будут терзать г. офицера, то он немедленно окажет помощь. Наперекор его гнусному предположе-

нию мичман Воронов вышел из трюма улыбающимся и, не взглянув на «прапора», пошел к себе, а «прапор» и тупоумные часовые удивленно смотрели на Воронова и как бы спрашивали друг друга:

— Неужели он жив?... Неужели эти «звери» его не растерзали?

Вот какое имела о нас представление эта людская сволочь—и начальники и подчиненные...

Было донесено рапортом начальству караула, что арестанты взбунтовались, и требуется усилить караул; немедленно был прислан усиленный караул.

Перед уходом из трюма Воронов заметил, что мы так громко кричали, что слышно на Нахимовской... Это дало нам хорошую мысль к дальнейшему.

Мы смирно и терпеливо решили ожидать приезда командира.

Если наша просьба не будет удовлетворена, то мы тогда будем «просить Нахимова» — он скорее услышит, чем здешние жестокие люди...

Было решено—если прогулки нам не дадут, то мы определенно обращаемся к Нахимову; следует только воспользоваться подходящей погодой, и Нахимов вместе с шатающейся по его площади праздной толпой, быть может, нас услышит, и мы ему скажем, что мы задыхаемся без воздуха, и армяки в нас стреляют, как в куропаток... Он, наш моряк, быть может, поможет нам при помощи праздной толпы, среди которой, наверное, есть 3—4 человека, которые думают о нас...

Тоскливое ожидание в трюме, положительно, истощилось, нам уже подали обед, который мы плохо ели после сытного ужина.

К нашему счастью, пловучая тюрьма повернулась по ветру, и левый борт оказался параллельным Приморскому бульвару, так мы могли наблюдать в наши дыры за отходящими и приходящими шлюпками, катерами, вельботами у Графской пристани. Из нашей среды некоторые охотно согласились дежурить, следить за приездом командира.

— Смотри на флюгарку вельбота № 1,—распорядился Уланский.— Как только покажется, доложи мне, дежурному.

— Как некрасиво звучит: командир пловучей тюрьмы, — говорили заключенные между собой,—видимо, он был в немилости у Чухнина, и его назначили морским тюремщиком.

— А, быть может, он самый преданный Чухнину, как Думбадзе,— заметил Симаков.

— Верно, верно, самый преданный; он у нас был заложником на «Очакове», я только его фамилию забыл,—спохватился Антоненко.

Уже темнеет; у Графской пристани ничего не видно, а командир не едет; придется ждать до следующего дня. Напрасно мы сегодня приготовились по-парадному.

— Завтра—воскресенье, и он тоже может не приехать,—заметил «философ».

— Чего каркаешь?..—огрызнулся шутя кто-то из матросов.

Сегодня суббота, значит — усиленный ужин. «Полуженатых» пустят на берег, они поедут навестить свою «кухонную администрацию» (кухарок и горничных), а ужин останется нам.

— Скоро ли дадут ужин?—спрашивал наш «герой темной ноченьки», ходивший целый день, как очумелый; кроме стакана чая, он совсем ничего не ел. Он эту ночь так «надрался», что ему казался весь свет в копейку.

— Берешь ужин? Берешь кашу?—крикнул в люковую дыру принесший сытный ужин... Слышен был запах гречневой каши.

— Ну, и суточки у нас сегодня выпали,—нараспев тянул «философ».—А ночь-то, ночь какая выпала! А «желтуха», желтенькая, настоящая барская!!! Столбовые дворяне могут только ее попивать... а эта самая закуска, точно царский «кок» готовил. Пошли, господи, чтобы это было не последним деньком!

— Нет, брат, шалишь, больше там не положат,—заметили другие.

— А вот перед этим борщем и кашей не мешало бы дерябнуть по соточке,—говорили сразу несколько голосов; но у нас был и так хороший аппетит, и мы ужинали усердно.

— Вот, брат, живем, так живем,—многозначительно заметил «философ», положив большую красную ложку на стол и делая маленькую передышку; он неуверенно смотрел на большой кусок жирного мяса, думая, что ему не одолеть этой преграды.

— Если нам еще дадут прогулку,—продолжал «философ», ожидая очереди на кашу,—и станет «тепленько», то, пожалуй, мы уплывем с прогулочки. Нырнул, и баста...

— Даешь баки? Берешь кипяток?—крикнул матрос.

— Ну, а если нам не дадут прогулки?—спрашивал Антоненко.

— Нет, брат, мы не оставим! Принципиально будем требовать!!.. Будем кричать Нахимову, ведь, уже нами решено,—усиленно настаивал «философ», лениво ворочая во рту кусок мяса.

На другой день мы с самого утра приготовились встречать командира, чуть ли не решили стать во фронт и еще чище привели в порядок себя и трюм. В 3 часа дня наш наблюдатель заметил, что по направлению к нашей тюрьме идет вельбот № 1.

— Едет, едет командир!—кричали наблюдавшие в иллюминатор; мы все подошли к дырам. Из подошедшего вельбота вышел по трапу офицер I ранга, толстый, с лопатообразной черной с проседью бородой. Это был командир-тюремщик.

Тот же «тюремный вестник» нам сообщил о прибытии командира, и мы приготовились встать против парадного люка, в который командиры спускались в доброе старое время к командам.

На палубе была слышна какая-то тревога. Ну, значит, идет командир, мы приготовились изложить наши нужды подробно и обстоятельно.

С порывом морского ветра открылось маленькое отверстие нашего маленького люка, куда подают нам обед, и сверху к нам донесся пьяный и хриплый голос командира:

— Вы что здесь бунтуете, арестантские морды?!... Что вам нужно? Или вы хотите, чтобы я вас голодом уморил?

Мы, уполономоченные, выступили, стали против люка и хотели изложить нашу коллективную просьбу. Но, увы!

Остервеневший командир кричал:

— Арестовать бунтарей и врагов царя и отечества!

Наш люк с шумом захлопнулся от бурного ветра, и все стихло. Было слышно лишь щелканье винтовочных затворов усиленного караула, а боцман отвинтил мертвый болт люка и приказал уполномоченным выйти на палубу с «коллективными требованиями», предупреждая, что, если почему-либо они не выйдут, то он откроет стрельбу по трюму. Чтобы не подвергнуться расстрелу, нам, двум уполномоченным, нужно было подняться наверх, по требованию остервеневшего командира; мы решили это сделать.

Наверху нам об'явили, что мы арестованы, на 14 суток каждый, на карцерное положение, после чего нас посадили по разным карцерам,—если только можно назвать карцерами эти железные ящики. «Философ» был посажен где-то на корме; я, наоборот, на юте, около «камбуза» (кухни), и не в помещение карцера, а в какой-то фонарный ящик: видимо, моя физиономия показалась опаснее «философской».

С каким удовольствием я прошелся до своего карцера по всей палубе и глотнул чистого морского воздуха! Но еще с большим удовольствием втолкнул меня в фонарный ящик знакомый нам армяк, которого мне не так давно хотелось толкнуть в мусорный рукав во время шторма.

Фонарный ящик служил для нас темным карцером; хотя до настоящего времени из нас никто не попадал в него, но мы слышали о его существовании. Он помещался около кухни, в нем не было никаких отверстий, кроме маленьких дверей, вырубленных в листе железа, и вентилятора сверху.

— Ну, ладно,—думаю я,—лишь бы только не околеть в этой «трубе»: январский мороз на дворе.—Но оказалось, что там имеется паровое отопление, а больше мне и горевать не о чем; требования вполне удовлетворены: мне надо было воздуха на верхней палубе, я получил его.

Разница между трюмом и моей «трубой» была такова: в общем трюме мы задыхались без воздуха, а в моей фонарной трубе особенно скверно воняло керосином, маслом, бензином, паклей и смолой; все эти пять запахов давали особенно едкую вонь и пронизывали мои носовые «клапаны и завертки»...

Места для постели и самой постели не было,—на железном полу лежал какой-то смолистый, черный и клейкий мат; впрочем, что

думать о мелочах, наша морская натура вынесет все, она упорная, стойкая.

Правда противно было дотрагиваться до него руками, но—в сторону предрассудки—я на нем спал 14 суток и не замечал его клейкой, смолистой массы; смолистый запах, говорят, для легких полезен, а мне нужна эта дезинфекция.

Пищи в карцере, я знал, не полагается, и придется сидеть на пище «святого Антония». Хлеб и вода! В прочности моей «фонарной трубы» караульщики не сомневались. Они знали, что лбом ящика не прошибешь, а, если и попытаешься ударить, то наделаешь столько шума, что будет слышно на Приморском бульваре и на Северной стороне. Вот почему армяки не следили за моим зловонным помещением.

В потолке моего ящика была рупорообразная «отдушина»—вентилятор, — Ну, — думаю, — я окончательно устроился; вентилятор можно поворачивать по ветру, и приток воздуха будет достаточен, теперь бы только завязать дипломатические сношения с внешним миром... Выручи, злая судьбина, хоть на сей раз, пошли мне дипломатическую связь!

Но, что я слышу? Мой вентилятор повернулся не по ветру, а рупором к кухне, и меня обдало кухонным запахом! Я долго смотрел на оставленный кусок хлеба и железную кружку с водой, воображая себе вкусные блюда. Почему-то мое воображение остановилось на одном из курортных мест Кавказа, городе Кисловодске, и его знаменитых шашлыках из карачаевских барашков, приготовленных в Читаевской шашлычной, и сейчас же мысль перенеслась в Массандровские подвалы гор. Ялты, где можно было бы сделать хороший выбор вин для читаевского шашлыка.

Я мысленно перешел на очаковского повара Красильникова, который вкусно готовил блюда и за свое кулинарное искусство получал много чарок водки.

Да, славный кулинар Красильников, заплатили тебе за твое старание и искусство кулинарии тяжелым константиновским снарядом (Красильников был убит во время восстания «Очакова»).

Так прошло много времени, пока я выбирал вкусные блюда... Уже совершенно стемнело; кажется, команда готовилась к вечерней поверке, как вдруг в мою отдушину сверху падают какие-то предметы.

Ощупью я нашел упавшие предметы, приподнял их к носу; оказалось—большой кусок жареного мяса, вкусно приготовленного, и порядочный кусок белого хлеба.

Я совершенно растерялся от этой благодати «сверху», не зная, кого благодарить. У меня сердце запрыгало от радости, что мне представится возможность завязать дипломатические сношения с внешним миром.

А пока я принялся поедать упавшее сверху, стараясь уничтожить все полностью. Я с'ел брошенную мне пищу, не оставив ни крошки,

на тот случай, если у меня будет поверка, то, чтобы не могли заподозрить, что команда меня снабжает... Думаю, было бы хорошо и покурить после сытного ужина; ну, видно, придется обождать, пока завяжу дипломатические сношения. Протянулся на своей клейко-вонючей постели и уснул здоровым молодым сном до утра.

Утром меня разбудила общая дудка, поданная команде: «Вставай! Койки в сетку выноси!». Я потянулся на своей импровизированной постельке и подумал:—команда не относится ко мне; я независим от морской дисциплины, я свободный гражданин: хочу—сплю, хочу—сижу,—ходить по моему ящику было негде: он был всего в 2 аршина в квадрате.

Жизнь на палубе оживала; свистели дудки, слышались тихие распоряжения и громкая ругань боцманов: «Выбери слабину... подтрави конец... голяком хорошенько потри палубу, давай шлом сюда»... Где-то струилась вода, кто-то пробежал кошачьей походкой...—Моют палубу,—думал я.

Мне очень хотелось посмотреть на жизнь команды, и я вспомнил, что у меня в углу ящика стоит прикованная «параша» (вонючее ведро для естественных потребностей); ну, вот есть предлог постучать армяку. Стучу... Откликается караульный разводящий.

— Что нужно?

— Возьми и вынеси «парашу»!

Застучал висячий замок у моего ящика, открылась маленькая дверка, я выставил «парашу» и тем временем показал толпившимся матросам, что я курить хочу.

Моя пантомима была понята.

«Парашка» армяком была возвращена, и мой ящик снова заперли висячим замком. Сижу и прислушиваюсь к малейшему шороху.

— Швабры бери и вытирай палубу и переборки!!—была подана команда боцмана.

Завозили швабры по палубе, начали вытирать переборки, по моей крыше тоже шуршала швабра. Я поднял очи кверху. Рупор моего ящика завертелся—его вытирали—и я услышал шопот: «Курево принимай!».

И мне были брошены папиросы 3-го сорта «Браво».

После глубокой затяжки папиросным дымом на душе у меня стало весело и отрадно... «Точно ангелы босыми ногами прошлись по моей душе», как говорил Вобликов.

Я не тяготился своим карцерным положением, я быстро примирился с ним. Меня аккуратно вечером снабжали сверху чуткие и сочувствующие матросы жирными и большими кусками мяса и белым хлебом, а днем я не сидел в абсолютной темноте, так как свет падал в вентилятор, даже можно было читать в моей трубе. Так проходили дни и ночи моего существования.

Помню, был такой случай: как видно, я курил самым отчаянным образом, так что дым поднимался столбом и выходил в вентилятор, точно из кухонной трубы.

Опасаясь, как бы начальство не заметило, что в карцере курят, один из моих доброжелателей-матросов поднялся на крышу ящика, как-будто убрать концы, нагнулся к моей дыре и тихонько проговорил:

— Меньше кури! А то дым так валит из твоей трубы, точно ты пары поднимаешь. Что, думаешь в море сниматься?

Я прекратил злостное курение и успокоил моего доброжелателя.

Один раз мне была брошена записка, которую я при свете маленькой замочной скважины с трудом мог прочесть: «Если не поел продукты, и остались папиросы и окурки, то приготовь к вечеру, брошу шпагат к тебе, и ты подай наверх; ничего не оставляй»...

Я охотно подчинился распоряжению «сверху»...

Вечером, когда стемнело, мне был брошен в трубу шпагат; я навязал все, что было—обгрызенные кости, окурки, коробки от папирос, сухие корки белого хлеба—все то, что некуда было выбросить: бросать в прекрасную «парашу» я не хотел, боясь, что заметит бдительное око армяка. Все готово, дернул за сигнал, и все поднялось кверху. Я избавился от вещественных доказательств моего карцерного преступления, все взял на себя мой благодетель и хранитель. Спасибо тебе, благородная, чуткая душа матроса!

Так прошло 6 дней моего карцерного наказания. На шестой день мне дали горячую пищу. Обед мне дали из командного котла, в два блюда. Конечно, не приходится говорить о его доброкачественности и вкусе. Я с большим аппетитом ел переменную пищу, так как мне мясо в течение шести дней основательно надоело, и я был доволен борщем и гречневой кашей. Мой карцер был открыт, пока я обедал, и армяки и команда смотрели на меня, как на мученика. Многие матросы что-то мне обещали.

Я понимал их чуткие сердца и мысленно благодарил. Видно, у меня вид был ужасный; я первый раз в жизни испытывал карцерное положение.

Обед мой кончился, бак с остатками вкусной пищи был выставлен; их взял себе караульный армяк с разрешения матроса, «кока», а за мной опять захлопнули дверь железного ящика. Растянувшись на клейком мате, я думал:—Почему на меня так испуганно и с жалостью смотрели матросы? Неужели же у меня такой жалкий вид? Неужели на меня так подействовал карцер?—Я чувствовал, что у меня все было в порядке, за исключением моей головы.

Моя голова, видимо, обратила на себя особое внимание любопытных. Я чувствовал, что мое лицо было покрыто слоем клейкой черной массы, а на голове волосы склеились с паклей смоляного мата.

— Ну, что же, видно, так угодно злому року;—я с аппетитом раскурил папиросу и вооружился терпением, чтобы отбывать далее срок моего карцерного наказания.

Меня так же продолжали снабжать с'естными припасами, но смелее и чаще.

Вот сегодня мне прислали «сверху» хорошую жареную утку. Я, конечно, давно хотел побаловать свою нежную «утробу» белым мясом и, вообще, я ничего не имел против перемены блюд; вместо теплой воды мне дали большую кружку сладкого чаю, который я с удовольствием пил после вкусного белого мяса.

Так прошло 10 дней. Нужно бы было с нетерпением ждать обеда, но я не особенно беспокоился, благодаря вниманию чутких матросов. Я дождался еще одного обеда. Еще один раз побеседовал с командой «Прута», которая меня внимательно слушала, и от которой я узнал много новостей, собранных от любителей сенсаций; конечно, я им мало верил, да они и оказались базарной сплетней.

Я заметил: насколько дружеским было отношение ко мне со стороны матросов, настолько враждебным—со стороны армяков.

Конечно, немало у меня было столкновений с караульными армяками во время карцерного положения; я старался особенно злостно острить, когда караульный армяк выносил мою прекрасную «парашу»; матросы также острили над караульными, которые всюду слышали свой приговор:—Сахарники, за два куска сахара расстреляли «очаковцев». Денежную награду в 1 р. 10 коп. получили за 1.600 матросов. У, думбадзевские сахарники!!.. Палубу только пачкаете своими кровавыми сапожищами!!.. Когда начнется «моряика» (шторм), быть может, она вам вывернет армейские чугунные желудки...

Вот какое отношение матросов было к солдатам Брест-Литовского и Белостокского полков.

На 13-е сутки моего карцерного сиденья я получил записку, в которой было сказано: «Вечером ты получишь «желтуху», но с условием—не шуршать (не шуметь), когда выпьешь». И, действительно, перед поверкой мне спустили приблизительно $^3/_4$ бутылки водки и большую соленую кефаль.—Боже! Что же это за роскошь?! Такой прелести едва ли мне придется вкушать скоро,—подумал я.

Но пускаться в философские дебри не время, когда чувствуешь, что в твоих руках дрожит наша морская «желтуха».

Видно, у меня в характере имеется и «покладистость». Спать, спать!!.. Осушил до дна содержимое, с'ел жирную кефаль с головой и хвостом, мысленно послал бесконечную благодарность моим благодетелям и, как говорят моряки, «отдал все четыре» и уснул таким блаженным сном, что мне хотелось бы проспать так до конца карцерного наказания... Утром я проснулся вместе с просыпающимися на судне матросами и сейчас же вспомнил, что мне нужно ликвиди-

ровать посуду; мне удалось без труда мелко исколотить ее и осколки высыпать в «парашу».

Срок моего наказания кончался в воскресенье, в 3 часа дня; последние дни, а в особенности часы, казались вечностью.

Вот настал давно желанный день моего освобождения. На палубе движения и работ не заметно; надоедливые дудки мало слышны своим характерным свистом; на дворе стоит тихая солнечная погода.—Да, двойной у меня сегодня праздник: освобожусь из зловонного ящика и солнышко увижу,—думал я.

О, как мучительно тянется время до трех часов дня! Но что я слышу? Стук... Голос... и какой-то душу раздирающий крик, и опять стук в борт. Сейчас меня должны выпустить на солнышко, хотя на одну минуту, пока я дойду до темного трюма.

Я даже придумал маленькую симуляцию — итти потихоньку к трюму, мотивируя тем, что от абсолютной темноты я не могу смотреть, куда мне итти.

Но не тут-то было... На палубе была слышна какая-то неожиданная тревога, было слышно: «Караул, в ружье!». Заработала машина.

— Что такое?—задавал я себе вопросы.—Неужели пожар? Неужели пловучая тюрьма уходит?.. Быть может, нас уже приговорили без суда?

Были слышны выстрелы; до моего ящика доносился здоровенный голос Жигулина и переплетался с самой жирной, отборной руганью, какой мог ругаться только «конокрад».

Все эти потоки ругани были по адресу командира, они его хлестали, как налетевший шквал, и рассыпались в общем гуле.

Эта жигулинская ругань, кажется, была слышна и на Малаховом кургане.

Беготня и суета на палубе не прекращались. Я совершенно не понимаю, что творится на палубе и в трюме. Машина продолжает работать, точно воду качает за борт, но, ведь, сегодня работы на палубе нет, а свет зажигать рано. Я, положительно, теряюсь в догадках.

Прошло немного времени; шум постепенно стал стихать; громкий голос «конокрада» затих; по стуку машины я слышу, что пловучая тюрьма не собирается сниматься; но машина продолжала свою ритмическую работу, и через несколько времени все утихло.

К дверям моего ящика молча подходил кто-то; по шагам мне казалось, что их было много, а затем чей-то голос распорядился:

— Открывай!

Открыли мой ящик, и я быстро, даже порывисто вышел из карцера на палубу. Я был ослеплен дневным светом, закрывал лицо и глаза руками и остановился у дверей карцера. Так я простоял недолго; я заметил, что меня окружала любопытствующая толпа матросов и двух—трех офицеров, которых я не знал. Тут же были—армейский офицер, караульный начальник, часовой и разводящий.

Вся эта толпа смотрела молча на меня и, мне казалось, выражала сочувствие моим переживаниям; казалось, что некоторые думали: «Что мы с ним сделали? За что мы так жестоко его наказали? За то, что он хотел выразить желание всех остальных?».

Я стоял на месте и дышал чистым воздухом и чувствовал себя прекрасно, не обращая внимания на любопытных. Признаюсь, я себя в карцере лучше чувствовал, чем в трюме.

У меня было неудержимое желание обругать любопытных офицеров, которые, как видно, принимали активное участие в неизвестной мне тревоге, судя по их обнаженным револьверам,—и вернуться обратно в фонарный ящик, но меня мучило любопытство—что делали в трюме с моими товарищами; да, кроме того, я своим видом напоминал грязного кочегара, только что сменившегося с тяжелой вахты, не говоря уже о том, что мои волосы на голове так слиплись, что голова болела.

— Ведите его!—распорядился начальник караула, какой-то плюгавенький прапорщик нерусского типа. Я сделал шаг вперед, окинул злым взглядом г.г. офицеров и сказал:

— Благодарю вас, господа офицеры, морские тюремщики, за доставленное мне удовольствие в вашем вонючем фонарном ящике.

Я направился к трюму, жадно глотая воздух, с которым мне придется сейчас расстаться. Люк моего трюма уже был открыт и напоминал волчью яму; меня опять втолкнули в нее.

В трюме моим глазам представилась ужасная картина.

Все узники пловучей тюрьмы были совершенно мокрые, а особенно Жигулин: он величественно шагал по среднему проходу трюма и шлепал обутыми ногами по воде, не успевавшей стекать в шпигаты.

Кровати опрокинуты и сдвинуты в кучу, тюфяки и одеяла в безобразном хаосе лежали на кроватях и валялись на мокрой палубе. Узники меня встретили обычным приветствием; мой вид им казался смешным и забавным.

— Во, брат, тебя ржавчина не возьмет, тебя жирно выкрасили какой-то смоляной краской, от тебя так и несет мазутом,—острили над моей смоляной физиономией товарищи.

— Неужели мой вид комичнее вашего? Вы все похожи на мокрых куриц, которых моют от худобы и вшивости.

— А вот «философ» похож на щипанного индюка,—заметил кто-то из матросов.

— «Философ»! Да ты как попал сюда из карцера?—спрашивал я.

— Помилован, помилован был по болезни,—отвечал «философ».

— Жаль, что ты в карцере не околел,—ругнул «философа» Уланский,—вся эта волынка из-за тебя случилась, посмотри, как промокли, собачьи сыны.—Уланский показывал на мокрых и дрожащих товарищей, ютившихся около кожухов парового отопления.

— Ты мне расскажи, как тебе удалось выйти из карцера,—настаивал я на рассказе «философа».

— Э, брат, пустяки, лихорадка крапивная пришла. Она меня так трясла, так трясла, что карцер стонал. Ну, я ей, конечно, и давай помогать. Лихорадка меня трясет; и я орать; да так орал, что по-соседству кают-компании жить не давал, вот нас и выгнали вдвоем с лихорадкой,—закончил «философ», дрожа от холода, как в лихорадке.

— А вот теперь принес нам свою лихорадку,—ругался Уланский, не любивший никаких волынок.

Эта мирная ругань направлялась по адресу «философа», внесшего предложение выразить протест командиру за его зверское отношение.

Из рассказа Уланского я узнал, что, так как просьбами достигнуть разрешения на прогулку не удалось, то решили добиться этого шумом, да так, чтобы этот оглушительный шум был слышен на Приморском бульваре и Нахимовском проспекте г. Севастополя.

Такое предложение было внесено «философом» и единогласно было принято узниками трюма.

Воспользовавшись ветром, который повернул пловучую тюрьму левой стороной к Приморскому бульвару, узники открыли иллюминаторы со всех сторон нашего трюма с таким расчетом, чтобы слышали Южная и Северная стороны бухты. Узники пропорционально распределились на каждый иллюминатор и все вместе, дружно, не щадя голоса, крикнули: «Караул!!.. Спасите!!.. Нас душат в трюме! Даешь власть! Даешь спасение!».

Несомненно, что дружный крик при хорошей погоде был слышен на Нахимовском проспекте и на Северной стороне.

Благодаря праздничному дню, по улицам и на Приморском бульваре было много праздношатающихся граждан, которые знали, что посередине бухты, между бульваром и Северной стороной, стоит пловучая тюрьма, прикованная на мертвых якорях, где томятся жертвы очаковского вооруженного восстания.

Еще не изгладилось из памяти севастопольского обывателя ноябрьское восстание крейсера «Очаков»; как только был услышен крик на знакомой пловучей тюрьме, толпа бросилась на Приморский бульвар, откуда она могла слышать и видеть, не рискуя своим благополучием.

Толпа группировалась на Приморском бульваре, слышала крики узников и строила свои умозаключения.

Напрасно узники пловучей тюрьмы старались напомнить толпе о своих тяжелых переживаниях. Ей чужды страдания других! Стоны, крики и вопли, доносившиеся из темного железного трюма, ее не тревожили.

Все эти выхоленные, упитанные лица пришли любоваться обычным повседневным зрелищем—блестящими, красивыми мундирами моряков, «бухтенных мореплавателей» на бочках и мертвых якорях, и

сильными, смелыми матросами, когда они мощными руками навались на весла летящей, как стрела, шлюпки.

Напрасно ты, чуткий матрос, искал помощи в бесчувственной толпе!!.. Напрасно ты просил помощи у бессердечной массы!! Напрасно ты искал заступничества там, где над тобой занесли обнаженный меч. Напрасно ты взывал к обществу. Напрасно ты искал защиты от думбадзевского караула, который расстреливал тебя и получал в награду 3 рубля. Напрасно ты, матрос, просил только крупицы человеческого права: десять минут подышать свежим воздухом. Напрасно ты старался напомнить толпе, что в день переворота матросы приносили себя в жертву, посылали патрули оберегать имущество и семейное благополучие горожан от различных шаек бандитов и хулиганов.

Торжествуй же, толпа! Но помни, что пройдут года, народится новое зрелище; чуткие матросы 1905 года умрут, но народятся новые матросы; тогда ты не ищи спасения, ты его не найдешь, ты будешь растерзана без суда и следствия, без выяснения причин. Берегись, толпа!

— Вон до сего времени стоят «корабельные крысы» (корабельными крысами называли жителей города Севастополя),—Уланский указал дрожащей от холода рукой на толпу, стоявшую на Приморском бульваре, и продолжал ругать товарищей.—Ведь, я говорил этим «серым чертям» (молодым матросам), что не нужно кричать. Нам «корабельные крысы» не помогут, скорее от Нахимова и Корнилова дождались бы помощи, чем от этих крыс.

Вода постепенно уходила в шпигаты из нашего помещения, и мне стало понятно, почему работала машина, а также—почему в нашем трюме так много пожарных труб: они были приспособлены не только для тушения пожара, как мне казалось вначале, но и для усмирения обитателей мрачного трюма.

Мы приступили к уборке трюма, к просушке нашего постельного белья и носильного платья.

— Вона, как хорошо «собачьи сыны» промыли нам трюм,—многозначительно произнес «философ».—Право, хорошо, что нашего брата вымыли, да и крыс меньше стало, а то, того и гляди, что неблагодарные за ноги потащут за обшивку. Видно, и крысам не нравится жизнь на нашем полном пансионе; кроме того, мы удостоились чести узнать характер и принципы нашего командира,—заключил «философ».

— Ну, как поживает наш «конокрад»?—спросил я, подходя к мокрой постели, на которой Жигулин лежал, согнувшись, как он говорил, в «собачий узел». Жигулин мне ответил продрогшим голосом:

— Плохо, брат; плохи наши дела! Эта ранговая сволочь не удовлетворилась тем, что поставила на вентилятор толстую решетку а еще, вишь, какую январскую ванну закатила.

После устроенной нам ванны «ранговой сволочью» (командиром), как говорил Жигулин, нашим узникам едва ли вздумается повторить свой шум. Кроме устроенного «окатывания», нам прекратили паровое отопление на несколько часов, и мы промерзли окончательно.

Я рассказал товарищам, как хорошо было мне в фонарном ящике, и как судьба была ко мне благосклонна.

— Видно по твоим волосам на голове, что к тебе судьба была благосклонна,—заметил мне Симаков.—А костюм твой на что похож? Точно тебя 15 дней мылили в нефтяном резервуаре!

И, действительно, я так перепачкался в фонарном ящике, что из меня можно было выварить 15 фунтов различных горючих материалов. Я приступил к приведению в порядок своего туалета, а одежду я вынужден был бросить за борт на вымочку в соленой воде, так как от нее несло удушливым запахом.

Мне пришлось умываться не над тазом, а над прочно прикрепленным тяжелым корытом, сделанным в мое отсутствие, таз же убрали и лишили нас нашего музыкального инструмента.

После приведения себя в порядок я почувствовал, что фонарный ящик был гораздо приветливее, чем этот мрачный трюм с его мокрыми продрогшими обитателями.

Да, командир отомстил нам за все: за устраиваемые нами невинные концерты, за шум, за уток, за консервы и за хорошо-выдержанную водку. За все мы уплатили дорогой ценой, быть может, многие и своим здоровьем, легкими, получившими впоследствии туберкулез.

Вечером нам дали свет, а паровое отопление закрыли. Да, читатель, нельзя было позавидовать обстановке, в какой находились трюмные узники.

Принять зимой такую ванну, какую нам «закатили», и остаться промокшими до рубца без парового отопления! В тот день нам не дали обеда и вечернего чая, и мы бродили по трюму, как голодные продрогшие волки, и стучали зубами не от злости, а от холода.

Так прошла долгая зимняя ночь, никто из нас не уснул и не находил сухого места, не говоря уже о тепле.

На другой день рано утром нам пустили паровое отопление, и тут же нам боцман заявил:

— По распоряжению командира, весь трюм оставляют на карцерном положении на 7 суток.

Я очень жалел, что я вышел из фонарного ящика и не нанес отборного морского оскорбления любопытным офицерам при моем освобождении; я был бы обеспечен семью сутками «ящика»; несомненно, меня бы водворили обратно на «смолисто-вонючий мат», я бы ожидал «подачи свыше», и мне было бы тепло и уютно.

— Во, брат, правда, мы здорово пошумели?—спросил меня «философ».—Тебе было слышно в твоем ящике, как ты его там называешь? Право, хорошо! Настоящий принципиальный «шумок», небось, нашей «ранговой сволочи» было чувствительно.

— Да, я думаю, нашим легким будет чувствительнее, если мы получим воспаление легких,—заметил я «философу».

— Ну, брат, нашему брату полезны январские ванны; слава богу, в этом году дважды получили: ноябрьскую—чухнинскую и январскую—командирскую. Видишь, как они обнимают паровое отопление,—острил «философ».

— Ишь, как разбрехался, а все это ты виновник, жалко, что я тебя вчера мокрым тюфяком не привалил,—огрызнулся Блинов, не любивший никаких «волынок». Ему казалось, что его скромное поведение будет замечено начальством, и его освободят из трюма.

— Э, брат, а консервы да утки любил есть? Подставлял большую кружку под «желтуху»?.. Даже и палубу лизал, а теперь хочешь, чтобы тебе все прошло безнаказанно?..—оправдывался «философ».

Промокшие, голодные и продрогшие мы полны были непримиримой злобой. По адресу жестокого командира посыпались тысячи вариаций различной ругани; была даже удачно сложенная рифмованная ругань, которую я не осмеливаюсь повторить.

Что же касается караульных армяков, то им, буквально, не было пощады.

Так мы прожили 7 суток на пище «святого Антония», питаясь 2-мя фунтами черного хлеба и кипяченой водой, выдаваемой два раза в день.

Книг и газет какого бы то ни было направления нам совершенно не давали. О своих поступках в дни вооруженного восстания никто никогда не говорил. Мы были научены горьким опытом в 31-м ф. э., где было так много сыщиков, переодетых матросами, и где был собран материал для обвинения каждого в отдельности.

Я помню, когда нам вручили обвинительный акт, в котором было нам подтасовано обвинение по 100 ст., многим из нас не были понятны статьи, мы были совершенно спокойны; а, когда нам бросили записку с раз'яснением значения ст. 100, то на многих из нас это нехорошо отразилось, особенно на нашем красавце Антоненко.

До вручения обвинительного акта он был тих, скромен и величествен, а после раз'яснения ст. 100 и военно-морского устава 109 ст. стал раздражителен, и в этом богатыре проснулась сильная злоба на все окружающее; он, положительно, потерял веру в человечество.

— Никто не мог знать всего того, что я делал; я это делал один. Вот, смотри,—Антоненко показывал на выдержку из обвинительного акта,—точно я сам говорил следователю. Много имеется и того, что я делал только сам. Хотя бы вот пример: я сам считал снаряды, ночью никого не было... Кто мог сказать военному следователю? Да я сам говорил не военному следователю, а тем подлым «дружкам», которые были в 31 ф. э.

Были у нас и такие, случайно попавшие в число обвиняемых, «герои», которые говорили: «Лучше бы меня приговаривали за убийство отца и матери, чем за вооруженное восстание».

Недоверие друг к другу при разговорах о своих действиях во время восстания было беспредельно. Каждый старался молчать о своем участии, но было поздно. Обвинительный материал был достаточно подробен и сконструирован умелой рукой; напрасны были наши осторожности.

Да и разница между ст.ст. 100 и 51—небольшая. По ст. 100 нас расстреляют, а по ст. 51—повесят. От таких статей обитателям трюма не казалось весело, но это было всего 5—10 минут, и мы быстро привыкли к ним и часто забывали нашу неизбежную гибель, хотя каждый из нас приготовился к чухнинскому мечу.

Мое личное обвинение сводилось к тому, что: 1) я был старшим офицером (ревизором) крейсера «Очаков» в дни восстания, 2) по прибытии Шмидта на «Очаков» Шмидт поцеловал меня и сказал: «Ну, мой старый друг! Будем действовать по заранее известному плану», и 3) что я выступал оратором среди команды. Главное, мне ставили в вину то, что я воспитывался штурманским учеником под командой «Красного лейтенанта». Вот все то, что подвело меня под рубрику 100 и 51 статей.

— Вот эти-то самые статейки поведут нас в загробную жизнь,— с сокрушенным видом говорил «философ».—Вот, брат, одно меня беспокоит, что я не специалист, а просто «без определенного занятия»; отец меня хотел отдать в кузнецы, говорил мне, что ремесло хорошее, «пятаки ковать будешь», но я воспротивился,—куда, мол, меня в кузнецы, мне не к лицу будет кузнечное дело: вдруг меня будут выбирать в народные представители, а я—кузнец; знамо, не выберут... Я так и остался крестьянином—лошадям губы драть да быкам хвосты крутить. А вот бы теперь понадобилось кузнечное дело. Право, я дурень, что отца не слушал. Вот, Саша (Гладков), у тебя дела обстоят куда лучше.

— Послушай, «философ», ты несешь какой-то вздор, мне совершенно непонятно, зачем тебе кузнечное ремесло теперь понадобилось?—заметил Гладков.

— А, ежели ты, примерно, не понимаешь, то вот слушай, что тебе резонные люди говорят, ты еще «серый», а я с 1903 г.,—продолжал «философ».—Вот ты, Саша, хороший слесарь, литейщик и еще что-то ты там... Словом, ты самый настоящий специалист, который непременно нужен в наше время на том свете,—морякам же на том свете нет места, нет ихнего ремесла. Да, брат, плохо нам будет с нашим морским знанием, там моря нет, а там огонь и железо.

— Что ты хочешь сказать о загробной жизни?—нетерпеливо задал вопрос Гладков.

— Ты видал картину страшного суда?

— Да, видел,—ответил Гладков...

— Ты заметил там грешников, повешенных за язык, за ребра, за шею, за ноги. Многие кипят в чугуннах котлах, наполненных смолою, и подогреваются антрацитом.

— Если ты признаешь, что там, в аду или в чертовом пекле, имеются цепи, котлы, крючки, уголь, то, следовательно, там имеются фабрики, заводы литейные, слесарно-сборочные мастерские, угольные копи, шахты для добывания руды... Следовательно, там имеются и рабочие; не сами же черти работают, а, определенно, рабочие-грешники. А где имеются рабочие, там имеются и социальные учения Карла Маркса. Одним словом, где имеются рабочие, тащи туда и меня. Среди рабочих-грешников я буду вести пропаганду за 8-часовой рабочий день и за улучшение рабочего быта в аду. Вот мы и добьемся 8-часового рабочего дня, а там посмотрим,—быть может, нам удастся поднять забастовки и вооруженное восстание, и мы чертей свергнем и заставим их работать в своих пеклах без помощи наемного труда.

— Довольно тебе нести всякий вздор и глупую галиматью,—заговорили сразу несколько голосов.

— На том свете все уготовано для грешников... так сказано в евангелии,—заметил религиозный Родионов.

— Не слушай, Саша, Родионова: он пойдет в рай, а нам с тобой нужно об этом хорошенько подумать. Верь мне, что ты превосходно заживешь. Вот Родионов думает, что все чертовские инструменты—котлы, вилы, крючки, цепи, уголь—все это чертям посылают из России; нет, брат, Россия посылает туда только рабочих...

— Ну довольно, Саша! Пойду спать, может быть, забуду про ст.ст. 100 и 51.

— Верно, ты прав, «философ»,—согласился грустный Антоненко. Скорее можно устроить переворот на том свете, чем у нас в России.

Срок нашего карцерного испытания истек, мы получили пищу, чай 3 раза в день, и опять потекла наша мрачная жизнь по заведенному тюремному шаблону.

Когда нам вручили обвинительные акты, мы совершенно не знали, где нас будут судить или «потрашить», как выражались моряки.

За несколько времени до нашего суда к нам на пловучую тюрьму приехал присяжный поверенный Пергамент. Он спустился к нам в трюм и плохо себя почувствовал от отсутствия воздуха. Он любезно предложил нам свою защиту, и ему нужно было познакомиться с кое-какими подробностями и действительными фактами, чтобы уяснить себе, что делал каждый подсудимый во время восстания.

Но не тут-то было: многие из нас отказались отвечать на вопросы Пергамента, несмотря на то, что он нас убеждал имевшимися у него на руках документами, что он, действительно, Пергамент, и ему важно установить факты, а особенно факты, касающиеся Антоненко, в котором защитник Пергамент усматривал серьезного подсудимого.

Но Антоненко положительно отказался дать ответ на заданные вопросы. Правда, никто из нас лично Пергамента не знал и думал, что Чухнин прислал одного из шпионов, как это было в 31 ф. э. Кроме того,мы чувствовали себя такими дикарями в этом проклятом

стальном каземате, что положительно не верили в человеческую добродетель,—мы жили отдельным своим миром и не знали, что творится за пределами нашего трюма.

Присяжный поверенный Пергамент старался нас убедить, что не он один нас будет защищать, но мы все-таки сомневались, так как о суде мы ничего не знали, а веру в добродетель, как я уже выразился, мы потеряли, благодаря тому, что наша искренняя откровенность подвела нас под рубрику 100 и 51 статей.

Пергамент был прав, сказав:

— Многие из вас превратились в дикарей с пловучего острова.

Пергамент нам сообщил, что имеется телеграмма от Николая II на имя Чухнина следующего содержания: «Скорее суд над очаковцами... Николай».

Конечно, мы не имели права думать, что мы можем рассчитывать на смягчающие вину обстоятельства.

Пергамент убеждал нас, что нас берутся бесплатно защищать несколько видных политических защитников. Это для некоторых заключенных показалось еще более неправдоподобным.

Помню, один из заключенных доказывал, что это не защитник Пергамент, а подосланный Чухниным переодетый военный следователь для пополнения следственного материала.

Некоторые из нас согласились дать Пергаменту ответы на его вопросы. Мы также узнали, что нас будут защищать защитники по политическим делам: А. С. Зарудный, Врублевский, Балавинский, Александров и друг. Подсудимых разделили на несколько групп. Судить нас будут не в Севастополе на площади, как мы предполагали, а, наоборот, нас совсем увезут из Севастополя в гор. Очаков.

Пергамент пояснил нам, что мы являемся историческими подсудимыми.

Крейсер 1 ранга «Очаков» был построен в память гор. Очакова, и теперь нас будут судить в гор. Очакове, а крейсер «Очаков», говорят, переименуют, как недостойного носить историческое название—«Очаков».

После ухода присяжного поверенного Пергамента мы стали припоминать, не было ли сказано чего-либо лишнего, что могло бы подвести под рубрику «трех смертей».

— Ну, брат, вы тово... наоткровенничали этому «ферту»,—старался нас убедить «философ».—Завтра вам пришлют дополнительный обвинительный акт в 3-х томах; посмотрите, что вам придется висеть в аду на всех самых толстых крючках... А я, брат, принципа не нарушу, пусть придет хоть сам Карл Маркс, и ему не скажу ничего больше того, что сказал на следствии. Вон помнишь, у нас в 31 ф. э. был дружок, у которого на ленте было написано: «14 ф. э. миноносец Дружок». Он выведал, что ему было нужно, и исчез из 31 ф. э., а нам вот всунут. Мне еще кое-как, а уже тебя (обратился он ко мне) не погладят по головке за признание массового террора. Ты думал раз-

рушить гнилое здание, а его начинают укреплять и реставрировать. Как же, хорошо пообедал... и начал и начал выкладывать свои революционные идеи этому «ферту» (Пергаменту).

— Вот что, «философ»! Уходи ты, пожалуйста, со своим скептическими принципами и со своим вороньим карканьем,—заметил я, восстанавливая в своей памяти то, что было мною сказано Пергаменту; но ничего предосудительного, что могло бы увеличить мое обвинение, я не вспомнил.

В начале февраля к нам прислали 2 роты караульных солдат; это свидетельствовало о том, что нас отправят в гор. Очаков; а через 3 дня рано утром на палубе стала заметна тревога. Свист дудок и осторожный крик боцманов:

— Выбери!.. Убери!.. Фасграбные, к трапу...

— Ну, значит, приехал командир пловучей тюрьмы,—думали мы.

— Вельбот поднят! Пошел на тали...—слышалась команда.

Жигулин уже давно ходил из угла в угол и рифмовал отборную ругань по адресу командира.

— Ну, вот и поехали прямо в пекло, без пересадки.

— Довольно тебе каркать, философская морда,—раздраженно заметил суеверный и трусливый матрос Вобликов, очень боявшийся суда.

Нам об'явили, что нас везут судить военно-морским судом в гор. Очаков.

Настали для нас пасмурные февральские дни; наш трюм стал еще мрачнее и темнее, небо было неприветливо, ветер был непостоянный, вертел пловучую тюрьму из стороны в сторону, точно он хотел показать ее со всех сторон. «Прут», как гигант, натягивал свои толстые цепи, точно он хотел сорваться с мертвых якорей; в машине были подняты пары, и, как тысячи змей, струи пара шипели, рвались на свободу.

Но вот ветер усиливается, налетая порывистыми шквалами на гигантское стальное чудовище; оно еще сильнее вздрагивает, еще сильнее натягивает якорные канаты, точно хочет их оборвать, цепи издают железный стон, который идет по всему корпусу пловучей тюрьмы и невольно заставляет вздрагивать больные, измученные сердца тюремных узников.

Пловучая тюрьма должна сняться на ночь, чтобы утром доставить подсудимых в Очаков.

День прошел тревожно, каждый из нас был занят своими тяжелыми думами.

Многие из нас думали так:

«Мы сдержали данную клятву родине, и за то, что мы остались верными клятве, остались сынами родины, быть может, нам придется проститься с ней, а, быть может, и с жизнью; или же мы пойдем по тернистой дороге каторги... Но мы будем спокойны в сознании, что мы

нравственно правы, и без ропота, но с гордостью понесем тяжелый крест».

Тревога на пловучей тюрьме заметно усилилась; по тревоге было заметно, что мы сегодня снимаемся с севастопольской голгофы, и нас везут на новую, более тяжелую, далеко от революционного города и исторической бухты. Что нас ждет на новой голгофе, мы заранее себе представляли.

Нестерпимое желание видеть «Красного лейтенанта», хотя что-нибудь узнать о нем—жив ли он, или нас будут судить без «Красного лейтенанта»? Какое было бы для нас горе... Мы только и держались бодрым духом «Красного лейтенанта», мы ему одному только верили, и ближе его у нас никого не было.

Около 9 часов вечера мы были уже в море. Погода была мрачная. Свинцовые тучи плыли на поверхности нашего трюмного люка, заволакивали звездочки, изредка светившиеся. Ночь становилась темной и холодной, а на душе становилось тяжелее.

Наш стальной гроб двигался вперед, и мы с каждой минутой становились ближе к своему эшафоту.

Мне казалось, что нас замуровали в этот стальной гроб, бросили во власть морской волны, и мы постепенно тонем и идем ко дну; а то мне казалось, что передо мной открываются мрачные своды очаковских казематов, из которых, быть может, мы больше не воскреснем.

В трюме было тихо, как в могиле; каждый из нас погрузился в свои мрачные думы, лишь по временам из груди узников вырывались тяжелые, глубокие вздохи о своей семье, о далекой родине, которая не знает, что ждет ее любимого сына...

Около 12 часов ночи наш люк осветился электрическим светом и быстро открылся. Для наших напряженных нервов это было какой-то неожиданностью.

К нам вошли неизвестные нам люди.

— Мы ваши защитники,—произнес господин высокого роста, элегантно одетый, и представился:

— Я—Балавинский, а это—А. С. Зарудный, Врублевский, Винберг и Александров.

Появление в нашем трюме защитников дало нам бодрость, силу и надежду на то, что еще остались люди, которые о нас думают и даже пытаются спасти нас, уже давно приговоренных к смерти.

На вопросы защиты мы отвечали с полным доверием, не скрывая того, что было скрыто от следствия и любопытных сыщиков и «дружков».

Я помню, что мне пришлось извиниться за ту недоверчивость, с какой мы отнеслись к Пергаменту.

На мой вопрос: «Где П. П. Шмидт?» А. С. Зарудный ответил:

— Лейтенант Шмидт в очаковском каземате и берет всю вину на себя.

Каждый из нас держал себя так, как требовало того достоинство революционера.

— Во, брат, в какое дельце мы попали, будем фигурировать в историческом суде,—острил «философ», излагая подробно свое участие и доказывая защитнику то, что он раньше не только не судился, но даже и свидетелем в крестьянских волостных судах не был, а теперь сразу в военно-морском судится.—Во дельце, так дельце... Вот, ваше превосходительство, хочу, чтоб вы меня прямо сейчас судили,—обратился «философ» к С. А. Балавинскому.

Балавинский добродушно улыбнулся и сказал, что он будет защищать, а судить нас будут другие...

—А! это Чухнин нас судить будет? Право недопустимо! Ему-то самому нужно сидеть на скамье подсудимых да не политическим судом его нужно судить, а уголовным—за массовое убийство с грабежом тысячи невинных жертв!.. А он будет судить нашего великого, бессмертного «Красного лейтенанта».

Защитники собрали нужные им сведения и ушли из нашего душного трюма, который во время прихода защиты охранялся усиленным караулом. Захлопнули за ними наш люк; мы решили, что наша судьба уже давно предрешена; смертный приговор неизбежен,—это угадывалось из нескольких слов нашей защиты.

— Вот что,—возмущенно говорил мне Антоненко,—ты знаешь Коровина Пантюху?

— Да, я его помню,—сказал я,—это тот, который спал с тобой рядом, и ты его защищал от нападок матросов в 31 ф. э.

— Так вот, дружище! Он меня, негодяй, здорово подколол... Во время вооруженного восстания он все время следил за мной и жался около меня,—продолжал восстанавливать в памяти Антоненко после того, как защитник случайно указал фамилию свидетеля Коровина.—Ведь, Пантюха не попал в число обвиняемых. Он освобожден и все передали сыщику; вот почему знают все мои действия.

Пантюха Коровин был самым последним матросом. Это был отчаянный трус, которого только угроза побоев заставляла вылезать из нижней палубы, где он всегда испытывал неодолимый страх. Лентяй и лодырь, отлынивавший от работы, не чистый на руку, он особенно любил шепнуть на ушко боцману, старавшемуся выслужиться на «кожу».

С самого начала своего новобранства Пантюха стал каким-то отверженным парнем.

Все им помыкали; боцманы, квартирмейстеры ругали и били его, приговаривая: «У, лодырь!». Пантюха никогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забитого животного переносил побои. После нескольких краж, в которых он был уличен, команда с ним почти не разговаривала и обращалась с пренебрежением. Всякий, кому не лень было, мог безнаказанно обругать, ударить его, послать куда-нибудь, поглумиться над ним, словом, другого отношения

к Пантюхе не было, и Пантюха так, казалось, привык к этому положению загнанной паршивой собаки, что не ждал иного отношения и переносил всю каторжную жизнь, повидимому, без особой тягости, вознаграждая себя на «Очакове» сытной едой, а при с'езде на берег—выпивкой и ухаживанием за прекрасным полом, до которого он особенно был падок. На женщин он тратил последние гроши и ради них воровал у товарищей.

Пантюха был вечным «галюнщиком»; другой должности ему не было; это была рабочая сила, от которой не требовалось никаких способностей. Во время под'ема шлюпок и катеров вручную Пантюхе сильно доставалось, так как он всегда лениво вместе с другими тащил конец или какую-нибудь снасть, делая только вид, как ленивая лукавая лошадь, будто вправду тянет.

Вот этот-то Пантюха был арестован в числе других матросов по какому-то недоразумению и посажен вместе с другими в 31 ф. э., где он примостился около добродушного Антоненко, который защищал Пантюху от побоев; вообще, Антоненко отличался от других матросов добротою, и Пантюха был под его защитой.

Между тем, на допросе военного следователя он давал показания об Антоненко, как о видном революционном деятеле, о его действиях во время расстрела «Очакова», выстрелах с «Очакова» и обо всем, что могло служить для Антоненко тяжелым обвинением.

— Да, он мне здорово подкачал, этот лодырь,—говорил Антоненко, ходя по трюму.—За все мое доброе к нему отношение заплатил он мне моей жизнью. Он видел, как я снаряды считал, и я говорил, что это вот количество нужно выпустить по чухнинской эскадре, он это тоже слышал. Мне не страшна смерть; я знаю, что меня казнят, но одно единственное желание—дали бы мне проститься с сыновьями; их, говорят, жена привезла.

Как видно было из рассказа Антоненко, он любил свою семью и неоднократно говорил, что у него два красавца-сына, на них засматриваются прохожие, а особенно деревенская молодежь.

— Да, Антоненко! Я тебе охотно верю; ведь, ты один из красавцев всей нашей команды, и, если твои сыновья похожи на тебя, они могут выдержать экзамен на красоту.

Пловучая тюрьма неслась полным ходом, разрезая встречные волны, и уже пробили «четыре склянки», а трюмные обитатели не ложились спать; они не забывали, как о больном зубе, о 100-й и 51-й статьях.

Мы знали также, что вместе с нами, там наверху, в кают-компании, залитой электрическим светом, щеголяют в своих блестящих, вызолоченных, парадных мундирах наши судьи. Едет наша страшная, черная, костлявая смерть.

Мне казалось, что вместо щеголеватого, позолоченного, парадного черного мундира на них были одеты черные саваны с капюшонами на голове, а вместо парадной шпаги они занесли над нашими головами кривые острые косы.

Блестящие судьи думали совершенно другое. Они помнили только одно—приказ монарха Николая II: «Скорее суд над очаковцами».

И этот приказ дал им неограниченную власть над жизнью «очаковцев».

Грозные судьи помнили, что им нужно исполнить повеление монарха и приказ Чухнина и судить по законам особого положения, и они его исполнят. Приговор, конечно, уже был вынесен до нашего суда.

Мы чувствовали, что приговор над нами уже произнесен, и нас везут только для формальности и ближе к нашему эшафоту.

Боже мой! Какое неудержимое желание знать хоть что-нибудь от вершителей наших судеб! Но увы! Мы ничего не знали и не слышали, за исключением равномерного удара винта под командой да тяжелого вздрагивания корпуса «Прута».

Пловучая тюрьма стала под прикрытием морской крепости, в которой в одном из пороховых казематов томится с сыном «Красный лейтенант», также давно приговоренный к смертной казни, и ждет гнусной формальности суда.

В моем воображении вставал образ моего незабвенного «учителя Петра» того времени, когда я был еще штурманским учеником. Мне казалось, что «Красный лейтенант» не должен замечать своего каземата с круглыми сводами, похожими на туннель; мне казалось, он не замечал караула из артиллерийских офицеров и отборных солдат, плохо говорящих, а еще хуже понимающих по-русски, специально подобранных из различных национальностей, с жестокими сердцами и черствыми душами.

«Красный лейтенант» думал о многом, только не о себе.

Он думал, наверное, о неудавшемся революционном перевороте, о тысячах жертв, погибших в Севастопольской бухте... и о тех невинных жертвах, которые еще должны погибнуть... О, какие тяжелые, кошмарные думы роились в его голове!

«Красный лейтенант» знал, что сегодня привезли его товарищей, преданных, честных и верных сынов родины, сдержавших клятву до конца. Он также знал, что его товарищи-матросы, давшие клятву на «Очакове», свято верят в него. Он только и думал, что эти свято верующие в него моряки будут сидеть на скамье подсудимых и ждать незаслуженного смертного приговора. Он также знал, что все знают, за что они гибнут.

— Да, мой старый преданный друг! Я иногда чувствовал угрызения совести...—говорил мне «учитель Петр».—Пусть казнят меня. Но не их! Они не виновны!

Мы не отходили от иллюминаторов и наблюдали из своей тюрьмы, что нас окружает, но нам пришлось получить немного впечатлений.

Нас охраняет морская одинокая крепость, смотревшая на нас своими тяжелыми орудиями; недалеко раскинут захолустный военный городишко, переплетавший маленькие постройки с гигантскими кре-

постными укреплениями, воткнувшийся в море острым углом; виден лениво шагающий угрюмый рыбак, просушивающий свои сети, да стоявший на часах тупоумный часовой, ждавший поминутно смены...

Думается, что общего имеет этот захолустный городишко с нашим великим, историческим вооруженным восстанием, давшим сильный сдвиг к всеобщему революционному движению в России?

Почему нас так стараются спрятать от мыслящего города и привезли, точно на показ тупоумному обывателю захолустного городишки?

Зачем же нас здесь судить? Ведь, можно же нас здесь казнить и без суда? Кто будет знать и кто будет слышать? Ведь, суд назначен при закрытых дверях. Никто не должен слышать и видеть, что будет творить грозное судилище...

На все эти вопросы невольно напрашивался ответ:

Чухнин не уверен и не может поручиться, что в Севастополе утихла революционная волна, всколыхнутая крейсером «Очаков», и опасается, что она может подняться на защиту «шмидтовцев». Здесь же все готово: суд и одинокий, пустынный остров Березань, где можно привести в исполнение приговор по двум статьям—100 и 51.

К пловучей тюрьме подошел катер с баржей, на которой нас повезут в сухопутные казематы Очаковской крепости.

Заскрипели заржавленные люки нашего трюма, не открывавшиеся долгие пять месяцев, и вместе с открывшимся люком перед нами открывалась и тернистая дорога.

— Выходи на палубу!—была подана нам команда.

Мы вышли. Под усиленным конвоем и строгим счетом по фамилиям нас принимал очаковский гарнизон сухопутной крепости. Конвойные солдаты смотрели на нас, как на людей, упавших с луны,—им говорили, что мы—самые от'явленные преступники, которые хотели свергнуть и убить царя. Других достоинств в нас солдаты пока не замечали и, вместе с тем, они нас боялись, как потом мы узнали из их слов.

На берегу нас встретил целый эскадрон лихих донских казаков с проволочными плетями, проложившими дорогу от тихого Дона до рокочущего Черного моря по спинам рабочих и крестьян; вот они и здесь чистят и прокладывают дорогу, стегая направо и налево угрюмых рыбаков, собравшихся толпой посмотреть на невиданное ими до сего времени зрелище.

Многие рыбаки в панике разбегались, а многие отчаливали свои знаменитые «очаковские шаланды», на которых они делали рейсы до Константинополя.

На открытом воздухе мы себя чувствовали не особенно хорошо: мы ощущали кружение головы и какую-то неприятную дрожь. Были случаи, что некоторые падали на длинном расшатанном мосту. Мы были довольны, что был пасмурный день, и нашему зрению не пришлось переносить солнечного света.

Одному из нас представился случай встретить земляка среди конвойных, который сперва мысленно здоровался с арестованным, а затем набрался смелости и подошел к арестанту и пожал ему руку. Тут же им было выяснено, за что нас считают преступниками. Как молния, пронеслось по усиленному конвою, что мы не преступники, как им говорили за 3 дня до нашего прибытия ротные командиры на поверках и фельдфебеля на «словесности»,—и с этого момента конвойные солдаты мирно обращались с арестованными, пока вели нас к крепостным казематам.

Вот и сухопутные очаковские казематы, в которых мы будем содержаться неизвестно сколько времени.

Очаковская крепость расположена у самого берега; острым углом она воткнулась в Черное море или, вернее, в устье Днепра против морской крепости и острова Березань.

Громадное неприступное укрепление вырисовывалось перед нашими глазами, как-будто эти земляные курганы были наворочены исполинской рукой седого старого времени за несколько веков до Р. Х.

Она не дрогнет не только перед тяжелым 42-дюймовым снарядом, но, мне кажется, и перед землетрясением.

Вот мы пришли к нашим казематам, расположенным внутри исполинских насыпей, или курганов. Очевидно, они приспособлены исключительно для хранения снарядов или взрывчатых веществ.

Длинные, узкие, низкие, с полукруглыми сводами помещения, напоминающие печи хлебопекарни, теперь же наскоро приспособленные для нашего жилья; в них не проникнет не только неприятельский снаряд, но с большим трудом и струя воздуха.

За нами захлопнулась вторая решетчатая дверь; глухая же стальная дверь на трехдюймовых петлях была оставлена открытой, и решетчатая дверь служила нам окном и доступом воздуха.

Наши казематы почему-то нам показались уютными; мы уже не слышали в них дикого гиканья жестоких казаков.

«Красного лейтенанта» также привезли из морской крепости на берег и заключили на гауптвахте; он просил посадить его вместе с нами, но просьба его не была удовлетворена.

Ночь в каземате прошла тревожно, каждый из заключенных вздрагивал от мысли, что завтра его будут судить, или, вернее, проводить формальность военно-морского суда.

Некоторые из заключенных тревожно ворочались на деревянных, жестких, скрипучих нарах, наскоро сделанных для подсудимых.

Что думали заключенные, знают только стены казематов. Многие ходили бесшумно, как тени, по среднему проходу казематов, не произнося ни одного слова, не сомкнувши глаз. Изредка к нашим решеткам тихонько подходили смелые караульные и задавали нам вопросы так же тихонько, чтобы не слышали другие часовые.

Мы отвечали на вопросы часового, и удовлетворенный часовой предлагал нам курить или исполнить какую-либо выполнимую услугу.

От часовых мы узнали, что о нашем прибытии знает весь город и готовится нас завтра встретить при выходе из крепости на суд.

Около 5 часов утра ко мне подошел красавец Антоненко. У него было смертельно бледное лицо, и он тихо произнес:

— Неужели мне не разрешат проститься с моими сыновьями?

Я не мог ответить на вопрос «Самсона». Я молча смотрел на его потускневшие глаза; на его красивом матросском лбу образовалась глубокая складка, чего до сего времени я не замечал. Не трудно было угадать, что им овладели тяжелые думы.

— Что с тобой, мой друг?—дружески спросил я Антоненко.

— Ведь, не могут же они заставить не биться мое сердце,—продолжал Антоненко.—Неужели они хотят убить мою веру в мой идеал? Неужели они думают, что после наших нескольких капель крови не найдутся еще люди и не будут биться так же их молодые сердца такими же стремлениями к идеям?

— Ты прав, Антоненко,—вмешался в наш тихий разговор С. П. Частник.—Мы должны в себе чувствовать силу души, которая нам говорит: «Верьте в свои идеалы!..».

Рано утром нас подняла с жестких постелей крепостная «ганга»; она издавала свои жалобные звуки, до сего времени нами не слышанные, и эти жалобные звуки напоминали нам что-то похоронное, тоскливое...

В наши решетчатые двери вторгался тусклый рассвет раннего февральского утра, и мы были рады, что наконец-то пережили длинную кошмарную ночь в крепостных казематах.

Утром нам был подан завтрак, вкусный, сравнительно с тем, какой был на пловучей тюрьме. Это позаботились добродушные обыватели захолустного города Очакова, как мы узнали от часовых; мы также узнали, что горожане узнали о прибытии арестованных «очаковцев», и их сердца тронуло, что «очаковцы» будут судиться в городе Очакове.

Заговорило доброе чувство жителей города, и нам передали приношения; кроме того, нам дали по одной чарке водки и почему-то нашей, морской.

Кто распорядился оказать нам такую любезность, нам неизвестно; а, быть может, Чухнин строго придерживается военного закона: приговоренному к смерти дают водку.

Некоторые из нас охотно выпили по сотке, думая, что удастся заглушить душевную боль. От долгого отсутствия спиртных напитков мы почувствовали себя оживленней, что и нужно было ожидать; небольшое количество спирта произвело свое действие на измученный и истощенный организм заключенных.

Во время завтрака нас предупредили, что мы будем ужинать в 5 часов вечера, до окончания слушания дела.

Из слов часовых мы узнали, что к воротам крепости прибыли казаки и стражники, а также с раннего утра обыватели собираются

большими толпами от крепостного вала и вдоль по дороге, по которой нас будут вести к военно-морскому судилищу.

— Арестованные, выходи!—была команда фельдфебеля с лихо закрученными усами.—Становись «в четыре».

Мы дисциплинированно вышли и стали стройно «в четыре».

В голосе лихого фельдфебеля слышалась не злобная команда, как нужно было ожидать, а какая-то затаенная гордость, что он присутствует при таких преступниках, которые ему непонятны и о которых так много говорят и пишут...

— Конвой! Шашки наголо! Караул, в винтовки! Партия, шагом марш!..

Мы пошли и тут же были окружены эскадроном казаков; впереди казаки и стражники очищали нам дорогу.

Жители города собирались, где только можно было пройти; многие смельчаки взбирались даже на крепостной вал; толпа становилась стенами по обеим сторонам дороги. Горожане взбирались на крыши домов, на балконы; окна, ворота, стены и даже водосточные трубы были облеплены ими. Многие бессмысленно смотрели, как на какое-то зрелище, а многие из толпы приветствовали нас смелыми криками:

— Привет вам, славные «очаковцы»! Краса и гордость русского флота!

Доносились крики с балконов и окон, видимо, революционной молодежи, а за ними подхватывали другие голоса, и все сливалось в общий гул толпы.

Толпа была нарядная, невольно вспоминалась толпа Испании перед аутодафе. Каждый старался подойти поближе к этапному шествию, но, увы, казаки показывали свою вольную удаль и неумолимую жестокость: избивая толпу проволочными плетями, с диким гиканьем они орали:

— Нэ пидходь!.. Чого тоби тут треба? Чао глядишь?.. Зеньки-то таращишь! Эды! Эды дальше!

Толпа держала себя обычным порядком: избитые уходили, посылали обидчику тысячи проклятий, а вместо них подходили новые и также избивались...

Наши усиленные протесты иногда сдерживали дикое бешенство казаков, а также и конвойные, окружающие нас, изредка заявляли протест по адресу казаков.

Мы проходили тесные улицы с выбитыми мостовыми; нас все время сопровождала толпа; кое-где нас встречали старушки-матери, набожно крестились и спрашивали у казаков, нет ли тут ихних сыновей, которых они давно проводили на военно-морскую службу, и крестились и вытирали рукавами навернувшиеся слезы по сыне.

Так мы проходили изломанными улицами города Очакова.

Также стояли моряки торгового флота и угрюмые рыбаки. Они бросили просушивать свои крючья и сети и пришли посмотреть на

зрелище. Все они стояли в вызывающих позах и злобно смотрели на гарцующих коней и гикающих казаков.

Вся эта 50-тысячная толпа, видимо, была возмущена никогда не виданными казаками у себя на берегу Черного моря, протестовала, упрекала и кому-то выражала жалобу на приехавших к ним нахальных разбойников.

Подходя к центру, мы пели революционные песни. Марсельезу подхватила толпа по ту сторону конвойного кольца. Как ни старались казаки оттеснить толпу, но толпа продолжала увеличиваться, а мы решили оживить захолустный город своими революционными песнями, которые мы хорошо пели здоровыми и окрепшими за 5-месячное сидение в трюме голосами.

Гул и крики толпы по адресу тиранов и палачей усиливались; было похоже на шум в тайге.

Все, что скопилось в сердцах толпы от долгого молчания, вырывалось наружу.

Где-то были слышны крики приветствия, крики похвал по адресу «очаковцев», а также ругань по адресу жестоких казаков.

Нам бросали с балконов и окон цветы, ветки, зеленые листья, деньги и даже лакомства... а также просили от «очаковцев» дать им, кто что может. Мы бросали ленты, погоны. На лентах и погонах была надпись «Очаков».

Все это жадно подхватывалось толпой с риском быть измятой. Ленточки с надписью «Очаков» резались на маленькие кусочки и прятались по карманам, а многие мальчишки даже продавали по 5 рублей кусочек ленты; спрашивали фамилию бросавшего ленту или погон; многие бросали галуны, нашивки, воротники, пуговицы и все, что можно оторвать, и даже целые фуражки.

Мы пришли к зданию клуба, где будут нас судить, ободренные сочувствием народа, с неудержимым желанием видеть нашего незабвенного «Красного лейтенанта» — Петра Петровича Шмидта.

XVII

Заседания военно-морского суда над «очаковцами» начались 7 февраля 1906 года. Суд временно поместился в здании городского клуба. Старое здание клуба не отличалось особенной чистотой как внутри, так и снаружи. Большой грязный двор с ободранными каменными стенами, во многих местах разрушенными, был оцеплен лесом штыков очаковского гарнизона, мрачно смотревшего на окружающее. Фельдфебели с лихо закрученными усами строго следили за стройной, неподвижной цепью караула.

Гарцующая сотня казаков, принимая команду хорунжего, окружила здание суда и теснила тысячную толпу. Внутри здания и у входа сновали взад и вперед жандармы, а у дверей стояли по два человека, вытянувшись в струнку и зорко следя за подсудимыми.

Зал военно-морского суда был некогда выкрашен в светло-сиреневый цвет, потускневший от времени; по углам и на потолке выступали пятна от сырости. В глубине квадратного зала стоял большой красный стол для судей, на котором красовалось зерцало с надписями: «Суд скорый, правый и милостивый», «Да царствует в судах правда!», «Лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невинного».

Около стола стояли три кресла; особенно выделялось своей шириною и высотою спинки кресло председателя.

По правую сторону судейского стола, ниже уступа, стоял другой стол, покрытый черным сукном; на нем была груда свода законов военно-морского суда. Это был стол прокурора.

Слева от судейского стола находился стол секретаря военно-морского суда с лежавшими на нем списками подсудимых и свидетелей. Ряд столов, покрытых зеленым сукном и нагруженных большими черными портфелями с важными бумагами, служившими для оправдания подсудимых, был предназначен для защитников.

В этом зале было четыре двери, расположенные крестообразно, с надписями.

У дверей «совещательной» суда стояло по два старых жандарма с выбритыми подбородками, распущенными подусниками и закрученными концами поседевших усов; они мне напоминали «служак» николаевского времени. Вытянувши свои привычные старые кости, они держали шашки наголо, с опущенной левой рукой, на которой было нашито множество углов, шевронов, свидетельствовавших о 35-летней службе их на жандармском поприще. Вот им-то и было поручено караулить исторический обвинительный материал «очаковцев» в комнате судей военно-морского суда.

У дверей прокурора также стояли жандармы, и сновал военный судейский пристав, перекликавший свидетелей. Еще четыре жандарма охраняли входные и выходные двери помещения для подсудимых и защитников.

Несколько мест было приготовлено для представителей военного гарнизона, — больше в зал суда никого не допустили: суд происходил «при закрытых дверях».

Для подсудимых были поставлены длинные скамейки без спинок, за исключением первого ряда стульев.

Первый крайний стул занимал «Красный лейтенант», а матросы были разбиты по категориям обвинения: на самых задних рядах были размещены матросы с небольшими обвинениями, которые впоследствии были оправданы; в передних рядах сидели смертники по 51 ст., и два ряда смертников по ст. 100.

С такой точностью было предусмотрено распределение мест в суде.

Вся эта парадная, церемониальная обстановка как-то давила подсудимых, и мы испытывали гнетущее душу состояние.

Перед началом суда «Красного лейтенанта» привел целый отряд жандармов. Мы все вытянулись во фронт и самым дисциплинированным порядком встретили нашего обожаемого «учителя Петра».

— Здравия желаем, Петр Петрович! — четко и в один голос приветствовали мы Шмидта.

«Красный лейтенант» перецеловал всех нас. Несмотря на свою бледность, он был оживлен, разговаривал с нами; мы даже шутили над теми поразительными церемониями, которые нас окружают.

В обществе «Красного лейтенанта» нам стало легко и свободно. Мы словно забыли, что находимся в здании суда, и бесцеремонно нарушали строгую могильную тишину караульного устава, забрасывая «Красного лейтенанта» всевозможными вопросами, не обращая внимания на окружающих, которые смотрели на нас, как на людей другой планеты. Парадная встреча нами П. П. Шмидта вызвала много толков среди военных, карауливших нас, а также и в кругу представителей гарнизона всех рангов.

— На все вопросы суда по пред'явленному обвинению буду отвечать я, — твердо и внушительно сказал нам «Красный лейтенант»,— за исключением ничего не значащих вопросов, на которые вы можете отвечать, каждый за себя. Допрос свидетелей прошу поручить мне и защите. А самая главная у меня к вам просьба, мои славные, преданные друзья, это—последняя: когда будет предоставлено последнее слово подсудимым, я отвечу за вас всех...

При словах: «мои славные, преданные друзья» у «Красного лейтенанта» неожиданно скатилась слеза, которую он быстро смахнул, и он поцеловал одного из нас.

Предложение «Красного лейтенанта» было принято нами всеми.

Раздался второй звонок, приглашавший занять места.

Обязанные и имевшие право присутствовать в зале суда заняли места, и до прихода судей мы рассматривали друг друга.

Представители гарнизона были одеты в свои парадные, блестящие мундиры, увешанные всевозможными орденами; все они, начиная с прапорщика и кончая генерал-лейтенантом, дисциплинированно сидели на своих местах, устремив взор на серьезного и задумчивого «Красного лейтенанта» и других подсудимых.

Защитники во фраках, со значками на груди, также заняли свои места; они что-то набрасывали карандашом на клочках бумаги и, видимо, ушли с головой в предстоящую им тяжелую работу.

Раздался третий повелительный звонок, словно говоря: «Суд идет!».

Все встали. Военно-морской суд расположился на своих местах и дополнил картину блеска своими морскими парадными мундирами. Это были вершители судеб человеческих. «Хочу — милую, хочу — казню»...—как бы начертано было на каждом. Весь этот блеск замыкался блеском твердой стали шашек и штыков.

Только подсудимые были заняты своими грустными думами. Мы сидели тихо, наблюдая за судьями и прокурором какого-то кавказского неопределенного типа—не то грузина, не то осетина.

Вот впечатление, которое произвел на меня внешний вид судей.

Как судьи, так и прокурор были совершенно равнодушны к чувствам, волновавшим присутствующих в зале суда.

Лица судей были холодны и бесчувственны. Не было видно на них ни борьбы между долгом и жалостью, ни страха наказать невинного; и мне казалось, что приговор нам вынесен заранее, что мы осуждены уже на смертную казнь.

Судьи, и в особенности прокурор, внимательно разглядывали подсудимых, как бы говоря: «Сколько же из них приговорить к смертной казни? Или приговорить их всех, целой партией в 41 человек?... Нет, для общественного мнения нужно послать некоторых в каторжные работы...».

В зале суда стояла могильная тишина. Всем присутствующим казалось, что они находятся на похоронах.

Подсудимые держались бодро и с большим вниманием приготовились к слушанию собственного дела, извращенного судебным следствием.

Не буду затруднять читателя описанием формальностей суда; скажу только, что суд над нами, «очаковцами», проходил самым ненормальным и преступным порядком.

В числе судей были командиры боевых судов, расстреливавшие «Очаков». Защита возбудила ходатайство об отводе этих судей,— суд это ходатайство отклонил.

«Красный лейтенант» просил вызвать свидетелей, — ему в этом отказали.

Защитники просили вызвать экспертов и освидетельствовать разрушенный крейсер «Очаков», чтобы установить, когда и как он стрелял; но и на это ходатайство последовал отказ.

Защитники предложили вызвать комиссию врачей, которые удостоверили бы, что Шмидт болен и что судить его нельзя. Это также осталось без результата.

Спрашивается, для чего же было в этом суде говорить и указывать на невинность подсудимых?

Начали перечислять подсудимых по именам, отчествам, фамилиям, губерниям, городам, уездам, волостям, селам и деревням. Вся эта процедура казалась скучной и никому не нужной.

Как подсудимым, так и присутствующим хотелось дождаться перерыва и обменяться впечатлениями, вынесенными из судебного заседания.

Перерыв был об'явлен на десять минут. Мы легче вздохнули. Свободнее почувствовали себя также жандармы и часовые, которые все время стояли навытяжку, «точно им аршин в глотку воткнули». Мы взяли под руки «Красного лейтенанта» и вышли в коридор. Он

кротко смотрел на нас, и мы чувствовали себя утешенными и обласканными,—это нежное отношение нас воодушевляло.

Мы дружески рассказывали нашему «учителю Петру», как мы сидели в тюрьме и как недовольны были караулом и командиром пловучей тюрьмы.

— Да, я не особенно завидую вам и «любезности», проявленной командиром,—заметил «Красный лейтенант». И тут же он рассказал нам, с каким большим трудом ему удалось выпросить карандаш, чтобы нарисовать «мой остров» (морскую крепость) с «Прута», когда его подвозили к нему.—Некоторым из вас известно, что рисование и художества—моя страсть.

Я напомнил «Красному лейтенанту» одну карикатуру—«Штурманский ученик на вахте», которая была нарисована П. П. на пароходе «Игорь» в 1902 году и повешена в рубке на мостике. Я в точности продемонстрировал перед всеми подсудимыми физиономию, какая была нарисована Шмидтом на этом рисунке. «Красный лейтенант» вспомнил то счастливое время, и мы все от души смеялись. Я также вспомнил, как «Красный лейтенант» нарисовал однажды мужские ноги в изящных ботинках того времени и, просрочив часы на свою вахту, извинялся, что «ноги задержали».

Вахтенный помощник понял это в том смысле, что у «Красного лейтенанта» болят ноги, — и он предложил Шмидту вернуться в каюту, собираясь за него отбыть вахту. «Красный лейтенант» об'яснил помощнику, какие «ноги» его задержали...

Я помню, что выражение—«ноги задержали» долго ходило даже среди команды. Опоздавшего на две-три минуты на вахту боцман или вахтенный иронически спрашивал: «Что, ноги задержали? Какие тебя ноги больше задерживают—мужские или женские? Смотри, брат, не опаздывай, а то придется нарисовать ноги на носу!»—заканчивал нотацию боцман.

Так проходило время перерыва. Иногда мы просто острили над окружающей обстановкой, хитрыми жандармами и тупоумными казаками—«куркулями».

— П. П.,—обратился «философ» к Шмидту,—угадайте, какие самые злейшие враги у меня на земном шаре?

— Вы, мой друг, так молоды, что и врагов не успели себе еще нажить, разве только какого-нибудь боцмана «мордошлепа», — дружески ответил «Красный лейтенант».

— Нет, не угадали! Вот мои самые злейшие враги: рыжие жандармы да эти тупоумные «куркули» с копнами на висках,—продолжал «философ», указывая на одного из тупоумных «куркулей» и рыжего старого жандарма.

— Да, мой друг, из рыжих святых не бывает,—заключил Шмидт.

Раздался второй звонок.

— Нас приглашают в судилище нечистое,—заметил Частник, беря под руку «Красного лейтенанта» и ведя его в зал.

Отношения подсудимых между собой казались для окружающих самыми нежными, бодрыми, смелыми, дружескими и достойными подражания. Один из представителей очаковского гарнизона, полковник Б., осмелился заговорить с арестованными и в коротком разговоре высказал много лестного по адресу подсудимых.

Мы заняли места. После третьего звонка мы приподнялись, ожидая, пока сядет «судилище».

Началось чтение обвинительного акта, которому, казалось, не будет конца. Мы переглядывались в тех случаях, когда выдвигалось вымышленное обвинение, подтасованное судебным следствием, так как мы хорошо знали деяния каждого. Но мы были бессильны протестовать и решили сидеть спокойно: так как мы провели ночь без сна, то многие, сидя, дремали. Зато не дремали «Красный лейтенант» и защитники. Они внимательно отмечали у себя для памяти ложные обвинения и подтасовки, а Шмидт нервничал и рукою зачесывал свои длинные волосы, что красноречиво говорило о его возмущении.

Чтение акта продолжалось вплоть до обеденного перерыва.

Во время большого перерыва «Красный лейтенант» почувствовал головную боль, и ему отвели небольшую комнату, где он прилег на диване. С ним был дежурный при суде врач, которому не разрешалось присутствовать в зале суда и в свидетельской. У его дверей стали жандармы, а мы опять вышли в знакомый нам длинный коридор. Нам было скучно без нашего вдохновителя Петра, и мы молча курили и вели тихую перебранку с жандармами.

После перерыва должен был начаться допрос свидетелей, которых насчитывалось до 200 человек. Но на суд явилось их не больше одной четверти: одни из них подали докладные записки и медицинские свидетельства о болезни; многие свидетели по каким-то соображениям прокурора были отведены. Допущены были лишь 6—8 человек матросов и некоторые кондуктора, которые говорили исключительно в пользу обвинения, не говоря уже о многих офицерах.

После второго звонка мы снова заняли свои места. Вошли судьи, видимо, проглотившие наскоро «по одной морской», которая развязала им языки при допросе свидетелей. Особенная развязность была заметна у председателя суда и прокурора.

Свидетелей-офицеров допрашивали особенно внимательно. Но многие свидетели уклонялись от подтверждения тех тяжелых обвинений, которые были в их показаниях на предварительном следствии. Они мотивировали это тем, что первые показания их были неверны, так как давались под давлением высшей власти; теперь же они показывают истинную правду под присягой, как религиозные и исповедующие учение святой церкви люди.

И, действительно, многие офицеры, бывшие в командном составе крейсера «Очаков» и хорошо знавшие команду, давали теперь показания в пользу подсудимых.

— Я знаю здесь всех матросов,—говорил один офицер,—я был ревизором крейсера «Очаков» и хорошо знаю всю команду. Все сидящие здесь на скамье подсудимых были примерными матросами; ни один из них никогда не был наказан не только строгим арестом, но и простым наказанием—«к трапу на 2 часа».

Возмущение прокурора было безгранично. Он старался напомнить свидетелю о его первом показании на предварительном следствии и особенно подчеркивал статью, карающую свидетелей за ложное показание...

Но свидетель определенно заявил суду, что даваемое им здесь под присягой показание—истинное показание, а те были преувеличены и неверны.

Такие свидетели приводили председателя и прокурора в неистовое бешенство; они готовы были посадить свидетеля на скамью подсудимых.

Неоднократно свидетелю задавались вопросы, клонящие показание к обвинению подсудимых. Но честный свидетель давал то показание, которое ему подсказывала его совесть.

Особенно запомнились слова одного свидетеля — капитана 2 ранга Соколовского, бывшего старшим офицером крейсера «Очаков» и знавшего всю команду по фамилиям, а многих—и по именам. Соколовский был одного выпуска с «Красным лейтенантом» по кадетскому корпусу; он знал П. Шмидта с раннего детства. На нем долго останавливалась защита, но он был крайне нежелателен прокурору.

Он дал неопровержимые показания в пользу подсудимых. Перечислив нас по фамилиям, он сказал:

— Сидящие здесь матросы были самыми дисциплинированными и исполнительными. Они служили показательным примером для всего экипажа. Мне, как старшему офицеру «Очакова», было много известно предосудительного, и команде памятны истории, за которые я жестоко наказывал. Но за сидящими здесь подсудимыми мной не было замечено ничего ни в политическом, ни в уголовном отношении. Если они и выделялись, то лишь своим всесторонним развитием. Подсудимого же, Петра Петровича Шмидта, я знаю со школьной скамьи,—он мой товарищ по корпусу и выпуску. Мы «Петушка» (так звали мы П. Шмидта) любили за его гордость, поразительную память и страсть к науке. Будучи гардемарином, Шмидт читал научные лекции, и мы охотно его слушали; об этом знала и администрация кадетского корпуса. Говорили, что Шмидту более подошла бы ученая деятельность, но П. Шмидта не менее научной прельщала морская карьера. Будучи офицером, Петр Петрович пользовался уважением среди морского офицерства, как способный и популярный моряк, побывавший на Северном Ледовитом океане.

Защита задавала Соколовскому всевозможные вопросы, и даже большая речь А. С. Зарудного была построена на показаниях этого свидетеля.

После показания свидетеля удаляли из зала суда, и многие из них, выходя в свидетельскую, возмущались, что им не предоставляется право слушать исторический суд над «очаковцами».

После Соколовского был допрошен еще целый ряд свидетелей, но их не хотелось слушать: ответы их были так однообразны, что мы заранее догадывались о результате. Правда, были и такие свидетели, от показаний которых некоторых из нас бросало в холодный пот.

Приведу возмутительную ложь, возведенную на меня свидетелем, лейтенантом Зеленым.

Во время позорного бегства офицеров с крейсера «Очаков» Зеленый бежал первым, чувствуя себя достаточно виновным перед командой. Это был самый ненавистный матросам офицер на крейсере.

Зеленый, или «мордошлеп», как его называла команда, был жесток и «слаб на руку»—нет-нет да и шлепнет попавшегося под руку матроса.

Меня же Зеленый почему-то особенно не любил, и мое помещение—«подшкиперскую»—называл «подпольником».

Именно этот свидетель интересовал меня; я знал, что Зеленый даст обо мне самые убийственные показания, покажет то, чего он не видал и не слышал, чего не было вовсе.

— Пригласить свидетеля, лейтенанта Зеленого, — распорядился председатель суда.

Подсудимые переглянулись и посмотрели в мою сторону. Защитник Балавинский с разрешения суда подошел ко мне и спросил, мой ли это свидетель? Я ответил шутя:

— Я бы его с большим удовольствием подарил прокурору.

Балавинский улыбнулся и ушел.

Зеленый стал центром нашего внимания.

Помню, Гладков шепнул мне потихоньку:

— Ну, держись: «мордошлеп» тебя выкупает. Он будет говорить, что было до его рождения, и все то, что его кухарка сегодня с базара принесла.

Считаю своим долгом заметить, что после того, как Зеленый в момент восстания бежал с «Очакова», он был арестован береговой командой и в качестве заложника сидел в 28 флотском экипаже, так что он не мог видеть, что происходило и на революционном «Очакове» и вообще на судах. Между тем, Зеленый старался очернить всех матросов, особенно—машинную команду.

Я уже сказал, что это был главный свидетель, который должен был меня «без ножа зарезать», как говорили подсудимые.

Зеленый показал суду, что я—воспитанник Шмидта, и что последний называл меня своим старым другом.

— По прибытии лейтенанта Шмидта на «Очаков»,—говорил Зеленый,—Шмидт поцеловал Карнаухова-Краухова и сказал: «Ну, мой старый друг, будем действовать по заранее известному тебе плану»...

Как я, так и П. П. Шмидт не отрицали этого факта, но мы были возмущены этим лжесвидетельством. Рассказанное им происходило 14 ноября, в присутствии команды, а Зеленый был арестован еще 13 ноября и сидел на берегу. Он не мог видеть нашей встречи и слышать сказанного тогда между нами. Это могли утверждать свидетели-матросы, которые, действительно, присутствовали при нашем свидании. Такое показание давал матрос Красильников.

«Красный лейтенант», взорванный лживым показанием свидетеля Зеленого, поднялся с места и громко заявил суду:

— Г.г. судьи, в этом деле не должно быть ни одного слова неправды,—только одну правду слышите вы от меня, и я знаю, что вы мне верите. Свидетель же, г. Зеленый, русский морской офицер, дает ложные показания на подсудимого Карнаухова. Я не отрицаю, что Карнаухова-Краухова я целовал, как своего старого друга, который был учеником под моей командой до военной службы. Но г. Зеленый не видел, что происходило у меня в каюте, и не слышал сказанных мною слов. Долг чести побуждает меня говорить только одну правду; я распорядился арестовать г. Зеленого, и он сидел на берегу, как заложник. Я утверждаю, что свидетель дает суду ложные показания. Я был командиром революционной эскадры, я издавал приказы, и мои приказы исполнялись. Если свидетели дают показания о том, что делали подсудимые, то это я делал. Я приказывал им делать! За все это я один должен понести наказание. Верьте мне, г.г. судьи, что я не утаю перед судом своих убеждений и целей, к которым я стремился. Вы, свидетель, носите мундир русского флота и вы должны знать, что матросы строго подчиняются морской дисциплине и точно исполняют приказы своих командиров, и здесь сидящие не могли не исполнять моих революционных приказов. За неисполнение они понесли бы строгую кару революционного суда. Благодарю бога, что мне не пришлось его применять. Мои приказы исполнялись не только судами, подчиненными моей эскадре, но и вы сами, г.г. судьи, со своими командами были подчинены моим приказам.

— Вы помните, что я освобождал с «Прута» политических арестованных и арестовывал заложников. Вы не протестовали против того и другого. Да, вы подчинялись моим распоряжениям и приказам. Вы также видели, что я одним миноносцем подчинил себе несколько броненосцев, вверенных Чухнину. Вы также знаете, что я обезоруживал эти броненосцы, приказывая г.г. офицерам выдать мне ударники с орудий и сдать оружие; и мне сдавали и то и другое, а обезоруженные мною садились на борт моего миноносца и сами подвергали себя аресту, как заложники. Вы видели, что я поднимался на борт каждого броненосца не с дессантом, а сам с 3-мя матросами против 2000 команды; и по одному моему приказанию мне сдавали оружие

и подчинялись аресту. Все подчинялись моим приказам и все их исполняли; арестованные г.г. офицеры не исполнили своего офицерского долга. Вместо того, чтобы обнажить шпагу против моих действий, они покорно сдавали мне свое оружие, как заложники. Подчиняясь моим распоряжениям, они следовали за мной на «Очаков». Можем ли мы после этого судить вот этих, здесь сидящих со мной рядом, за то, что они исполняли мои приказы и распоряжения? Согласно военно-морскому уставу, вы должны были меня убить при появлении моем на борту вашего броненосца с требованием—сдать оружие. Вы должны были либо обнажить против меня, либо выбросить за борт ваше оружие и этим самым вы выразили бы протест против моего распоряжения. Вы этого не сделали, а подчинились моему приказу. Вы же обвиняете матросов в том, что они принимали участие в революционном восстании вместе со мной. Вы даете, свидетель, показание, не зная даже матроса. Вы должны знать, что матрос, любящий своего офицера, старшего товарища на корабле, не уходит от него; он не оставит своего офицера в опасности. Не было еще такого примера в истории флота. Нет, свидетель, вы не правы, и нет истины в ваших показаниях. Вините меня, но не матросов, преданных своему командиру.

С «Красным лейтенантом»—истерика, и его уносят в знакомую нам комнату.

Со стороны представителей гарнизона было заметно сочувствие «Красному лейтенанту» и возмущение против лейтенанта Зеленого.

Уличенный в лжесвидетельстве, разбитый, приниженный и уничтоженный, лейтенант Зеленый уходил из зала, точно его самого приговорили к смертной казни. Об'является перерыв на 10 минут.

Мы вышли в коридор; «Красный лейтенант» вскоре успокоился, истерика прошла, и он отдыхал в комнате.

— Во распушил, так распушил твоего «мордошлепа»,—приставал ко мне «философ».—Вышел, как собака с прижатым воротами хвостом. Ишь, гадина, хотел сделать себе карьеру... Нет, брат, на мертвых карьеры не делают... Нужно было бы ему скандал устроить, да я думал, что это «Красному лейтенанту» не понравилось бы... Ну, кто у нас там еще из свидетелей, которые могли бы выкупать нас?

— Ладно, будет тебе каркать! Вот сейчас вызовут мичмана Холодовского, он Частника будет топить,—заметил Уланский.

Повелительный звонок снова приглашает в зал подсудимых, которые аккуратно во-время занимают места.

Допрос свидетелей продолжается.

— Пригласите свидетеля, мичмана Холодовского!—распорядился председатель суда.

— Скажите, свидетель, что вы знаете по делу революционного крейсера «Очаков» и его руководителей—лейтенанта П. Шмидта и кондуктора С. Частника?—обратился он к вошедшему свидетелю.

Мичман Холодовский, видимо, очень волновался и давал запутанные, сбивчивые показания, в которых он сам плохо разбирался:

— Мне известно, что кондуктор Частник принимал участие в мятеже и, когда крейсер был расстрелян нашей эскадрой и горел факелом, Частник стоял на «Очакове» и кричал: «Умремте, товарищи, на славном «Очакове» и будем верны нашей клятве!».

— Ну, а дальше что вы можете сказать?—продолжал председатель.

— Я, я... больше ничего не знаю...

— Припомните хорошенько еще что-нибудь.

— Ваше превосходительство, я... больше не видал ничего... ни-ничего...

— А вот вы, кажется, снимали с «Очакова» оставшихся матросов и офицеров-заложников...

— Да, мы снимали с крейсера матросов, убитых и раненых; даже куски тел собрали в паровой катер и все это доставили на «Ростислав». И больше я ничего не знаю...

— А вам Частник ничего не говорил?—напоминает председатель мичману Холодовскому.

— Нет, нет, ничего не говорил... Он только говорил... говорил... только... что говорил...

— Ну, что говорил? Успокойтесь и говорите,—старался успокоить его председатель.

Мичман переминался с ноги на ногу, и у него заметно дрожали ноги. В зале—абсолютная тишина. Все ожидают ответа, но Холодовский вертит кортик и ничего не отвечает.

Вдруг, как-то неожиданно для всех, мичман Холодовский громким, даже крикливым голосом и скороговоркой выпалил:

— Кондуктор Частник говорил: «Ну, что ж... теперь вы нас расстреливаете, а придет время, мы вас расстреляем. Если не мы, то другие отомстят за нас»...

Холодовский думал, что он уже избавился от тяжелых для него теперь показаний, которые ему было легко давать на предварительном следствии, когда они диктовались опытным военным следователем. Но не тут-то было: мичман Холодовский должен был отвечать на вопросы прокурора, который старался дать нить показаний свидетелю:

— Скажите, свидетель, известен ли вам тот глубоко возмутительный поступок подсудимого Шмидта, когда он арестовывал своих товарищей-офицеров, и как мог произойти и как происходил этот жестокий факт?

Мичман Холодовский окончательно растерялся и определенно ответил:

— Нет, я не знаю... Я не видел больше ничего.

«Красный лейтенант» волновался. Мичман Холодовский стоял, дрожа всем телом и бледнея от угрызений совести.

Присутствующим нетрудно было заметить, как лицемерно происходил наш суд и как прокурором диктовались показания свидетелям.

В зале поднялся шум возмущения защиты и подсудимых... Звонки об'являют перерыв.

Подсудимые уводят «Красного лейтенанта», забывая о том, что «Красный лейтенант» предупреждал их держать себя подальше от него, чтобы меньше обращать внимания «судилища» и прокурора. Мы окружили «Красного лейтенанта», жали ему руки и любовно, с благоговением смотрели на него, стараясь выразить глубокую благодарность за самоотверженную защиту подсудимых.

Но «Красный лейтенант» много курил и напряженно о чем-то думал, не слышал даже обращений к нему и не отвечал на вопросы.

Подсудимые часто говорили защите и самому Шмидту, что он, защищая подсудимых, подвергает самого себя ужасной опасности: приговаривает себя к смертной казни.

«Красный лейтенант» болезненно улыбался и говорил:

— Преданные друзья мои... Меня не спасти... И, клянусь вам, я не ищу спасения и не жду их пощады... Велика во мне вера, и дух мой не смутится.

Во время перерыва к нам подходили защитники с утешительными доводами, критикуя того или другого лжесвидетеля, и мы забывали о том страшном, кошмарном приговоре, который будет произнесен здесь. Мы уже привыкли к мысли, что жизнь так пуста и лжива, что иногда кажется противнее смерти, как это доказывал в своей философии К., который развивал идею организации клуба самоубийства...

Убедительные доводы К. были соблазнительны.

Но «Красный лейтенант», внимательно выслушав философское обоснование К., не согласился с ним, упрекнув его в малодушии; он спокойно и коротко обратился к подсудимым:

— Друзья мои, будьте благоразумны и терпеливы. Скоро, скоро все это кончится, у многих из вас жизнь еще впереди.

— Вы только помните, — продолжал он, — нашу клятву на крейсере «Очаков» перед его гибелью. Мы клялись быть верными своему идеалу! О своей жизни я не думаю... Ваша жизнь мне дороже своей... Я только думаю о вас и своем сыне...

Каждый из нас мысленно произносил: «Клянусь!.. Клянусь!..», поднимая гордо голову в знак повторения клятвы...

Такая преданность «Красному лейтенанту» повлияла на душу одного из солдат окружавшего нас караула. Солдат Пономаренко, выбежав из строя, бросил винтовку во двор и стал истерически кричать:

— Шмидт... ты святой, Шмидт... ты мученик за народ... Я на тебя молюсь...

Этот крик солдата произвел сильное впечатление на караульных солдат и жестокосердых казаков, а особенно на толпу, стоявшую целыми днями возле здания суда.

Сумасшедший кричал, что нас всех приговорили к смертной казни. Было ли это верно, мы не знали, но готовились к смерти. Под этот крик сумасшедшего нас ввели в зал, в котором воцарилась могильная тишина. Нам об'явили, что заседание суда закрывается до следующего дня. Какая участь постигла несчастного солдата Пономаренко, мы не знали. Допрос свидетелей продолжался 8 дней, с 7 по 15 февраля 1906 года. Мы, подсудимые, устали и измучились от этих формальностей и от ежедневных хождений в казематы крепости, отстоявшей на расстоянии двух верст от здания суда. Конвойные, хотя и менялись ежедневно, привыкли к нам и стали гораздо добродушнее. Мы держались свободнее и по отношению к публике, ежедневно встречавшей и провожавшей нас.

Хотелось поскорей узнать о нашей участи. «Преступность» наша была достаточно установлена свидетельскими показаниями. Оставалось еще несколько дней для прений сторон — обвинительной речи прокурора и речей защиты.

Сколько дней понадобится прокурору, чтобы нас подвести под рубрику 100 и 51 статей, было известно лишь ему одному.

Через защиту мы просили военно-морской суд хотя бы на последние дни посадить «Красного лейтенанта» с нами, но наша последняя просьба не была удовлетворена. «Красного лейтенанта» уводили на гауптвахту под конвоем жандармов, а нас—в крепостные казематы...

Нас лишили того, с кем мы так много пережили и кому так искренно верили, кому были глубоко преданы и кого обожали всеми силами своей измученной души.

Ежедневные этапные переходы в суд и обратно так тяжело и мучительно отражались на всем организме, что хотелось уснуть и не просыпаться. Но сон куда-то ушел, видимо—к беспечным и счастливым людям, баловням судьбы... Нас же мучила бессонница... Она заставляла работать мысль, сверлила уставший мозг, и мы целыми ночами переворачивались с боку на бок, как бы стараясь отвернуться от кошмарной бессонницы, чтобы забыть о том, что вершит зловещая судьба над нами...

Так проходили ночи в казематах.

Одни вспоминали свою деревню, думали о мирном труде. Некоторым грезился шумный город и его культура, красавицы с ангельской душой... Иные думали о фабричных станках и их усовершенствовании по последнему слову техники, стремящейся освободить от непосильного и тяжелого труда мир человечества и мир животных. Некоторые тосковали по оставшимся дома старушкам-матерям, которые, воспитав сына и проводив его на семилетнюю службу, благословили тем самым его на защиту родины.

Иные думали о тех матерях, отцах и детях, которые каждый день от зари до зари караулят, когда проведут этапом их сына в зал судилища. Вот они, родные, стоят в стороне. Они приехали из дальних северных губерний, прослышав в деревне, что сына будут казнить «царевым повелением».

Они стоят в стороне, завернувшись в свои самодельные кафтаны, набожно сложивши руки, и смотрят, как окружены их сыновья, братья и отцы лесом штыков, шашек и целым эскадроном гикающих казаков; и несчастным нет доступа подойти поцеловать, проститься, быть может, навеки...

Вот уже скоро кончится суд, приближается развязка... Подсудимые торопятся в свои непроницаемые казематы. Они уже не слышат плача матери... гикающих казаков... проклятий толпы по адресу казаков и судей...

Приближаясь к морю, в свои казематы, подсудимые безнадежно смотрели на берег Черного моря и на его бурные волны, катившиеся гигантскими волнами с рокочущим стоном. Вот они уже в двадцатый раз подошли к знакомым им казематам и скрылись в них.

До нашего слуха не доносятся ни лживые показания свидетелей, ни преступные вопросы прокурора, ни пристрастное отношение суда... Мы одни со своими тяжелыми думами, и нам кажется, что мы здесь можем спастись от жестокого приговора и укрыться от смертной казни.

Единственным нашим желанием было увидеть родных—матерей, отцов и детей, хотя бы на один час! Нет, хотя бы на одну минуту... обнять и проститься с теми, с которыми не видались долгие годы, теперь проститься навсегда... При мысли: «навсегда»,—подсудимые забивались в угол каземата и тихо, тихо грустили...

Немногие подошли к поданному ужину; нас не соблазнял вкусный запах, мы не были чувствительны к внимательным заботам городских обывателей, которые баловали нас не только двумя блюдами, но иногда и рюмочкой и третьим — сладким. Могло ли соблазнить нас последнее земное питание...

Ложась на свои холодные жесткие нары, подсудимые думали о завтрашнем приговоре и о тех чудовищных статьях, которые лишают человека жизни...

Мучительное воображение тяжело отражалось на многих подсудимых: они тяжело стонали, а некоторые бредили... По временам судорожно вздрагивали и бросались на грудь, точно хотели удержать бьющееся сердце... и шептали что-то непонятное... Только и можно было разобрать: «Завтра приговор, а там—непробудный сон...». Так проходили бессонные ночи перед приговором.

Гонг опять пробил 8 часов, опять прозвонил он похоронным звоном и опять заставил вздрогнуть больные сердца подсудимых... Это единственный предмет в крепости, который нарушал наши мрачные думы. Поданная команда — «Завтрак!» — глухо донеслась

в наши казематы, как в могилу. Нетронутый ужин был отдан солдатам и был ими расхвачен, как голодными волками; также им был возвращен и завтрак.

После завтрака дружелюбные часовые сообщили нам, что наш караул усилили чуть ли не в 2 раза.

По выходе из казематов мы убедились, что конвой, действительно, увеличен вдвое; нам сказали, что на помощь жестоким донцам прибыли днепровские казаки. Вся эта преждевременная предусмотрительность жалких трусов, видящих в каждом приближенном к нам собственных врагов, нервировала нас, и мы делались с каждым часом обозленнее.

Провокационные слухи среди толпы о том, что очаковский военный гарнизон хочет освободить приговоренных «очаковцев», заставили усилить конвой казаками, и конвоем командовал не фельдфебель с лихо закрученными усами, а какой-то вахмистр на красивом рослом коне днепровских заводов. Повидимому, предыдущие казаки познакомили его с нашей непримиримой смелостью. Перед стоявшими подсудимыми также гарцовал безусый подхорунжий, видимо, получивший знак отличия и первый офицерский чин за усмирение киевских событий; он смотрел на подсудимых как-то свысока и надменно. А пожилой вахмистр хотел внушить подсудимым страх. Он предупредительно сказал:

— Арестанты! Шаг в сторону — голова с плеч!..

Но тут же он получил в ответ:

— Казак! Ты глуп, твоя седина не научила тебя любить ближнего, как брата своего. Помни, поднявший меч от меча умрет... — с религиозной убежденностью остановил напутствующего казака Частник.

Вахмистр устыдился своих слов, круто повернул красавца-коня, а казаки и солдаты одобрительно смотрели в сторону подсудимого Частника.

Раздалась команда:

— Патрон—в винтовку!.. Шашки—наголо!.. Сомкни кольцо!.. Конвой, шагом марш!..

Снова ведут нас в зал кошмарного суда слушать обвинительную речь прокурора... Слушать выпрашивание смерти подсудимым...

Мы могли только издали видеть встречающих нас родных и толпу. Мы хотели посмотреть на тех, кто нам был дорог и кто нас так беспредельно любил. Но мы были окружены тесным кольцом — конвойными солдатами и сотнями казаков; мы могли видеть только сверкавшие штыки и блестевшие шашки.

Если мы что и могли разглядеть за этой стеной, то только махавших газетами и кричавших газетчиков. По улицам города среди толпы газеты брались нарасхват, и газетчики продолжали кричать: «Купите газету! Интересная, небывалая новость!.. Протест университетов против смертной казни «очаковцев»! Протест студентов Духовной академии против казни лейтенанта Шмидта и его товарищей!

Московские забастовки выражают протест против казни «шмидтовцев»!.. Протест священника Валентина Ильинского—«Удержите руку, поднявшую меч!»...

Публика бросала на дорогу газеты, чтобы подсудимые могли поднять их—другого способа для передачи не было; но это не удавалось благодетелям. Казаки быстро настигали бросавших, избивали их и поднимали газеты ловким приемом «с коня».

Некоторые из подсудимых несколько ободрились при словах: «Протест против смертной казни «очаковцев», другие же относились ко всему окружающему безучастно. Некоторым из нас казалось, что никакие протесты не могут остановить приговора военно-морского суда и воскресить обреченных.

В зале мы встретили «Красного лейтенанта», окруженного также усиленным конвоем жандармов. Мы пожали руки. «Красный лейтенант» смотрел ободряющим взглядом на подсудимых и защиту. Он заметил, шутя:

— Сегодня нас почему-то с усиленным почетом привели. Неужели они думают, что мы способны изменить нашим клятвам?

Мы не обращали внимания на судей, да и можно ли было питать какое-либо другое чувство к такому суду, кроме глубокого презрения, отвращения, негодования ко всем его несправедливостям и—жалости к невинным жертвам.

Военно-морской трибунал имел вид больше торжествующий, чем мрачный. Сегодня почему-то особенно казался военно-морской суд ослепительно блестящим, роскошным, напоминающим не торжественную похоронную процессию, проходившую несколько дней под ряд, а военно-морской парад, какие только бывают в исключительные дни рождения монархов или парадных смотров...

Вот человек в блестящем мундире с большими серебряными эполетами; казалось, в его мундире преступно быть палачом, а, ведь, он сегодня будет требовать смертной казни, требовать на основании закона, существующего в России. Это — прокурор военно-морского суда. Высокого роста жгучий брюнет, напоминающий кавказский тип, злобно сверкал он своими черными большими глазами заядлого преступника. Под притворной скромностью во всех его движениях была заметна жестокая, неудовлетворенная месть.

Я не слушал его 4-часовой речи, из которой, однако, запомнил на всю жизнь несколько слов:

— Г. г. судьи! Вы слышали, что подсудимый Шмидт говорил вам только одну правду и особенно старался убедить вас в невинности, якобы невинных, матросов, сидящих здесь на скамье подсудимых... Сам Шмидт не отрицает, что арестованных офицеров, его бывших сотоварищей, он, как заложников, держал у себя в трюме и подчинил несчастные жертвы своим преступным революционным приказам, заставляя их писать правительственным властям письма, в роде следую-

щего: «Скажите правительству главноком. Чухнина, что, если будет арестован хотя бы один матрос революционной эскадры Шмидта, то он, Шмидт, будет казнить и вешать по 2 заложника, находящихся в его трюме». И все эти революционные приказы исполнялись вот этими, якобы невинными... .

— Кроме того, вы слышали, г.г. судьи, что распространение революционных идей, направленное к ниспровержению строя в России, достигло громадных размеров; следовательно, его единомышленники, сидящие здесь, с ним рядом, разделяли его стремления, его идеи и его действия... Между тем, подсудимый Шмидт отрицает виновность подсудимых матросов, и вы только и слышите здесь, на суде, что: «это не они... это я делал... я приказывал... И не только на «Очакове», — мои приказы принимались революционной эскадрой, примкнувшей к «Очакову»... Разве его единомышленникам не было известно содержание телеграммы на имя государя-императора, имеющейся у вас в деле: «Царь, Черноморский флот вышел из повиновения твоим безответственным министрам, отрезал Крымский полуостров, об'являет федеративную республику Крымского полуострова, требует полную амнистию политическим заключенным и скорейшего созыва Учредительного Собрания». Нет, г. г. судьи, сидящие здесь подсудимые все — государственные преступники, стремившиеся ниспровергнуть существующий в России строй путем явного вооруженного восстания в Черноморском флоте.

— Я прошу на основании закона военно-морского устава ст. 109 и ст.ст. 100 и 51 применить к подсудимым смертную казнь.

По нашим мускулам пробежала нервная дрожь. На лице прокурора не было видно ничего, кроме холода и бесчувственности. Он останавливался на каждом подсудимом, подводил итоги преступлениям каждого в отдельности, пронизывая нас своими черными, преступными глазами.

— Посмотрите на этих преступных революционеров, — продолжал он, — державших не бомбы Кибальчича, а контр-миноносец «Свирепый» с его ужасным смертоносным оружием—минами, готовясь взорвать всю великую Севастопольскую эскадру. Разве эти преступные революционеры не заставили трепетать правительственную эскадру, не принудили офицеров подчиниться и сдать оружие и ударники?.. Разве эти преступники не терроризировали верные войска? Разве они не принимали участия в убийстве контр-адмирала Писаревского? Разве эти подсудимые не увлекли своими революционными, преступными целями тысячи матросов, погибших на Севастопольском рейде? Благодаря им они похоронены на дне Севастопольской бухты...

Подсудимые переглянулись между собой, как бы мысленно спрашивая друг друга: «Когда и кого же похоронили мы своим революционным выступлением?..».

И во всей обвинительной речи прокурора только и слышалось требование смертной казни подсудимым, наравне с «Красным лейтенантом».

О «Красном лейтенанте» прокурор говорил не менее двух часов, требуя для него смертной казни не через расстрел, а через повешение.

Это требование сперва сильно подействовало на подсудимых, а также взволновало и самого «Красного лейтенанта». Он нервно встряхивал головой, и густые волосы прядями падали ему на лоб. Порой казалось, будто «Красный лейтенант» хочет что-то возразить, но он успокаивался и продолжал спокойно слушать...

Между тем, прокурор переходил от «Красного лейтенанта» к Частнику, Гладкову и Антоненко, и вся обвинительная речь его пересыпалась одними и теми же словами: «Казнить через повешение»... «Приговорить к расстрелу...».

В течение 4 часов обвинения мы уже свыклись с мыслью о смертной казни, и нервы наши так притупились, что мы слушали речь прокурора, точно скучную лекцию.

«Красный лейтенант» неоднократно поворачивался к подсудимым и ласково говорил:

— Вас не казнят!

Он указывал на то, что суд не согласится со всеми жестокими требованиями прокурора, и, кроме того, он возлагал надежды на нашу сильную защиту.

Один из приговоренных высказал суеверную мысль, что приговоренных не возьмет трехлинейная пуля... Он даже был уверен, что приговоренных поставят к столбам, но выстрелят в воздух, чтобы только напугать, и оставят живыми.

— Неужели они могут расстрелять человека?—недоумевал несчастный, не допуская мысли, что можно убивать людей законным образом.

Во время перерыва я рассказал о надежде на отмену приговора «Красному лейтенанту». Он дружески обнял суеверного подсудимого и улыбнулся. Не забыть мне этой болезненной улыбки, покуда я буду жив...

Во время обвинительной речи прокурора было два перерыва; на второй «Красного лейтенанта» не пустили с нами в коридор: жандармы пригласили его в отведенную для него комнату. Это была последняя месть подсудимым, последний удар ножа в спину...

Подсудимым не дали возможности услышать последнее утешение сильного духом человека.

Во время перерыва стявшая у дверей стража следила за разговорами подсудимых, и один из старых жандармов обратился с напутственным словом к одному из подсудимых:

— На бога, на бога надейтесь... бог даст, без страха, ежели того, встретите смерть...

— Замолчи, живой смердящий труп! — крикнул ему в ответ один из подсудимых.

Но жандарм продолжал свою набожно-успокоительную речь. На сей раз он был остановлен Частником:

— Старый жандарм, скажи мне, сколько лет ты служишь на посту своего постыдного дела?

— Тридцать три года,—ответил жандарм.

— Так слушай же,—продолжал Частник,—за твою 33-летнюю службу уже казнены при твоей помощи десятки тысяч политических, и ты всем говорил свое бесстыжее, лживое и нечистое набожное успокоение. Следовало бы тебе подумать о том, что из нечистых уст исходит только нечистое... Побереги, жандарм, твои напутствования для твоих взрослых детей.

Жандарм посмотрел на сдержанного Частника взглядом безнадежности.

— Уйди, пес смердящий! — крикнул на жандарма Жигулин, который всегда готов был броситься на каждого обидчика.

Подсудимые выгнали этого жандарма из коридора, и его заместили другим жандармом.

Подсудимых ввели в зал суда далеко до начала заседания.

Мы должны были слушать нашу самоотверженную защиту, которая, видимо, решила подвергнуть себя самым жестоким нападкам и запрещениям со стороны суда, а, быть может, даже протоколу и аресту.

Еще теплится маленькая надежда на возможность опровержения прокурорского обвинения.

Мы знали, что значит сила таких крупных величин, как Зарудный и Врублевский. Врублевский, кажется, сам был прокурором с большим долголетним опытом и сам побывал в далекой ссылке; по его выражению, он попал «из прокурорского мундира в арестантский халат». И другие защитники также завоевали известность по политическим процессам — Балавинский, Винсберг, Александров и другие. Все эти крупные величины подавали нам маленькую надежду.

Многим из нас казалось, что мы удержимся на маленьком осколке разбитого гигантского корабля, уже погибшего безвозвратно.

Первую речь произнес защитник Врублевский. Я ее не помню; да и можно ли взять на себя смелость выразить то, что могла зафиксировать только стенография... Вторым выступил защитник А. С. Зарудный. В то суровое время мы боялись, как бы смелая, самоотверженная, революционная речь А. С. Зарудного не привела его к необходимости сесть рядом с нами на скамью подсудимых.

Да простит меня читатель за мою попытку восстановить в памяти выдержку из речи Зарудного и, если не точно, то хотя бы приблизительно передать смысл речи давно минувшего времени.

— Г. г. судьи! Посмотрите на явную ненависть русского народа к старому, отжившему строю России. Вы увидите, что эта яркая не-

нависть выражается в смелых заговорах и непрерывных восстаниях, в громких жалобах, приносимых суду, который один в угоду нескольким коронованным лицам бездействует в России. Приговоры российского суда только и создавали, что виселицы и расстрелы. Города и деревни обеднели, лишенные трудоспособных честных рабочих рук. Россия превратилась в арену гибели, на которой гибнут невинные жертвы. И палач не перестает заносить свое страшное оружие—петлю и винтовку—над лучшими, мыслящими людьми России. Но стремление к свободе не уменьшается... Благородные, самоотверженные борцы, полные силы и мужества, смело идут к свободе, к осуществлению народных стремлений. Они идут и будут итти вперед, не страшась жестоких приговоров, пыток, виселиц, расстрелов...

Зарудного прервали; раздались звонки, протесты судей и прокурора, шум представителей гарнизона.

Об'является перерыв на 3 минуты. Подсудимые остаются на местах. По требованию прокурора, был составлен протокол на защиту, присоединившуюся к словам Зарудного, и, кажется, этим защита и отделалась. Продолжение речи Зарудного заняло 3½ часа и было не менее смелым и убедительным; она несколько еще раз прерывалась предупреждениями председателя.

Другие защитники говорили так же смело, без страха перед прямым сообщением в московскую охранку и Петропавловской крепостью.

Особенно смелую и угрожающую речь произнес защитник Александров, бывший член I-ой Государственной Думы и член союза петербургских рабочих, что в свое время было громким делом.

Крайне пристрастное отношение суда к подсудимым и защите внушило уверенность, что требование прокурором смертной казни останется в силе. Подсудимые не допускали и мысли, что смертную казнь могут заменить каторжными работами. Не оставалось ни малейшей надежды остаться в живых.

Что пришлось пережить нам в ожидании смертной казни, это можем знать только мы, «очаковцы», или пережившие приговор к смерти вообще.

Я охотно отдал бы тогда жизнь за то, чтобы приговаривающий к смерти испытал бы чувство приговоренного и хотя бы в течение 24 часов, а не 28 дней. Приговаривающий к смертной казни не имел права носить имя человека.

Увы, ни в литературе, ни на полотне нельзя выразить переживания приговоренного к смертной казни — ту мучительную боль его души, ту жажду жизни, которую он испытывает, зная часы, когда должна порваться нить жизни. Только приговоренному знакомо это чувство смерти. Напрасно психологи стараются понять душу приговоренного к смерти: она живет своим отдельным миром...

После прений сторон было много толков; во время перерыва присутствующие одобрительно отзывались об А. С. Зарудном и Александрове; это одобрение, однако, можно было выражать только украдкой.

Наконец, председатель военно-морского суда предоставил последнее слово подсудимым.

Признаюсь, читатель, хотелось говорить в защиту подсудимых много, без конца, без границ.

Но что можно сказать? Можно ли выразить свое глубокое искреннее убеждение тем людям, к которым питаешь глубокое презрение... Можно ли было сказать этим жестоким сердцам, что они нам жизни не дали и они не имеют права у нас ее отнимать. Кому говорить? Кто нас услышит? Кто поймет вопль нашей души?

Мы были здесь одиноки, с больной истерзанной душой, и пусть же слушает нас холодная могила—без слов, без крика, без стона...

Мы отказались от последнего слова, заранее предоставив «Красному лейтенанту» право говорить за нас. Он один нас знает. Единственным нашим желанием было остаться жить—какой бы то ни было жизнью,—даже в бессрочной каторге, закованными цепями по рукам и ногам, но и там жить. И в серых, мрачных казематах, и в глубоких рудниках с впившимися кандалами,—и там есть жизнь.

Там есть жизнь, там теплится надежда на твое еще бьющееся сердце, на смелость и силу разорвать оковы и избавиться от вечной каторги.

Последнее слово «Красного лейтенанта» продолжалось около 3 часов; я не в состоянии передать полностью его речь, за исключением разве некоторых мест, вернее, смысла ее. Льщу себя надеждой, что нам, соучастникам, представится когда-либо возможность восстановить отчет исторического дела «Очакова» хотя бы как-нибудь, если только была застенографирована речь П. П. Шмидта [1].

Различные партии толковали и извращали последнее слово П. П. Шмидта так, как это соответствовало их интересам. Быть может, история найдет истину.

«Красный лейтенант» долго сидел в задумчивости; вдруг, словно проснувшись от кошмарного сна, он порывисто поднялся со своего места. На худом, изможденном, измученном лице видна была непримиримая гордость; во взгляде его было заметно спокойствие и воля сильного душой человека. Он перевел свой открытый, искренний взор на судей, потом на прокурора, как бы желая смутить жестокие сердца своей искренностью. Но прокурор, как хорошо приготовивший свою роль актер, не смутился,—на его лице не отразились угрызения совести перед самой правдой, перед истиной.

---

[1] Речь П. П. Шмидта была записана им самим для своего сына и передана его сестре—А. П. Избаш; она напечатана в книге «Лейтенант П. П. Шмидт. Воспоминания сестры». *Ред.*

«Красный лейтенант» в своем последнем слове долго останавливался на социальных идеях, на революционном движении в России, на колоссальном росте революционных стремлений среди моряков, которые должны будут сыграть — рано ли, поздно ли — большую роль в изменении государственного строя в России. Говорил он о том, что само время заставило его стать во главе морского революционного движения, чтобы положить конец вековым страданиям порабощенного, бесправного народа, ищущего выход к свободе и культуре.

А затем «Красный лейтенант» остановился на судимых матросах, чем и кончил свое последнее слово:

— Г.г. судьи, долг справедливости побуждает меня сказать истину не только перед судом, но и перед великой родиной. Эти, здесь вами судимые, невиновны! Не обрекайте их на жестокую, незаслуженную ими смертную казнь... Эти подсудимые не знали моих стремлений, моих революционных задач; повторяю, если и знали, то немногие... Я их вел, как каждый командир ведет свой корабль, на котором тысячи матросов не знают курса идущего стального броненосца. Командир корабля подчиняет себе многочисленную команду, которая не думает о том, куда вы направили ваш корабль. Они только помнят дисциплину, распоряжения и приказы командира, которым строго подчиняются. Они не думают, что вы направили свой корабль на бушующие, рокочущие волны океана, где корабль, бессильный бороться с неравной ему по силе стихией, должен погибнуть. Если же тысячная команда (матросы) и видит, что вы (переложили) направили руль корабля на пловучую ничтожную «мину» (старый строй), и гибель корабля неизбежна вместе с командиром, то матрос, любящий своего командира и безусловно верящий ему, будет принимать его команду до последней минуты своей гибели. Вот вам яркий пример— здесь сидящие (Шмидт показывает рукой на подсудимых). Я уверен, что они предвидели свою гибель, что они видели неравную борьбу между Чухниным и мной; они неоднократно меня предупреждали, что на меня вся эскадра и сухопутные крепости направили тяжелые орудия, перед которыми «Очаков» не может устоять. Но я им напоминал об их долге и революционной дисциплине и о той великой клятве перед поднятием красного вымпела, в которой я их заставил клясться «кровью Христа», его «тернистым венцом»... Они приняли предложенную мною присягу и знали, что они будут верны своему долгу, всем моим приказаниям... Зная неизбежную гибель, они шли за мной, как за своим командиром, идущим вперед к гибели. Г.г. судьи, я повторяю один данную мною ранее клятву и клянусь вам, что они не виновны. Клянусь вам любимым сыном, что остальные подсудимые не должны быть судимы наравне со мной, они не виновны... Казните меня самыми жестокими пытками, если нужны мои страдания, если нужна моя кровь. Я готов отдаться в жертву вашего приговора. Но их не казните. Они не виновны.

«Красный лейтенант» волновался, спазма душила его, он зашатался от волнения; мы его поддержали, и с ним началась истерика. Он протянул дрожавшие руки, и мы его отнесли, окруженные жандармами, в его комнату, где дежурный врач оказал ему помощь.

Матросы также пришли в волнение, где-то среди них вырывается сдавленный, глухой стон, где-то слышится тихий плач.

Среди присутствующих властей тоже заметно возбуждение; некоторые из них смахивали навернувшуюся предательскую слезу.

Конвойные солдаты открыто плакали, вытирая рукавом шинели слезы, держа винтовку свободно между рук; плачущих конвойных заменили казаками-донцами с фуражкой, держащейся на правом ухе, с торчащею на левом виске копною жестких, грязных волос.

Был об'явлен перерыв на 2 минуты без выхода из зала; тем не менее, часть суда ушла; остался лишь председатель со склоненным к столу лицом да прокурор. Один лишь прокурор и некоторые жандармы не проявляли признаков жалости и угрызений совести. Только прокурор мог бесчувственно выслушать последнее слово подсудимого П. П. Шмидта. Как видно, актер не хотел сойти со сцены, пока им не будет закончена страшная трагедия. Признаюсь, читатель, что великий инквизитор Испании, Петр Арбуэс, позавидовал бы жестокой холодности прокурора военно-морского суда над «очаковцами».

Часть защиты была в комнате «Красного лейтенанта», который быстро оправился, вышел в зал и сел на свое место; прерванное заседание суда было возобновлено, и «Красный лейтенант» продолжал прерванное последнее слово:

— Г.г. судьи, я повторяю вам, что не должно быть ни одного слова неправды в этом деле; только одну правду слышали вы от меня. Предсмертная серьезность моего положения, ответственность перед родиной побуждают меня напомнить вам в третий раз о тех молодых невинных жизнях, которые ждут вместе со мной вашего приговора.

— Верьте мне, г.г. судьи, что никого из них нельзя карать со мной наравне. Верьте мне, что сама правда требует, чтобы ответил я один в полной мере. Сама истина, само небесное правосудие (Шмидт указывает рукой вверх) повелевает казнить их не наравне со мной. Помните, что небесный суд казнит того, кто казнит вот этих (указывает рукой на приговоренных). Я не прошу для себя снисхождения вашего. Я его не жду. Велика, беспредельна ваша власть, но нет робости во мне, и не смутится дух мой, когда я услышу ваш приговор. Я знаю, что столб, у которого стану я принять смерть, будет водружен на грани двух различных исторических эпох нашей истерзанной родины. Сознание это дает мне много сил, и я пойду к столбу, как на молитву. Позади, за спиной у меня, останутся народные страдания и потрясения пережитых лет; а впереди я буду видеть молодую, свободную, великую, обновленную Россию...

«Красный лейтенант», кончив свое последнее слово, сел на место со склоненной головой, не замечая того волнения, которое было заметно среди почтенных военных представителей очаковского гарнизона, с трудом удерживавших предательские слезы, катившиеся по седым усам. Плакали и многие солдаты. Слышался тяжелый, без слез, глубокий вздох подсудимых.

Защита ходатайствовала о смягчении приговора.

Роль прокурора в трагедии была окончена. Он собрал уже груду свода законов военно-морского суда и устав военно-полевого суда и, прижимая их к груди, вышел из зала суда.

Был об'явлен перерыв до следующего дня.

Завтра нам должны вынести приговор. Нас отправили обратно в казематы.

Защитники Зарудный и Врублевский и сестра Шмидта А. П. Избаш уехали в Петербург к царю и всесильному тогда Витте.

Ночь в каземате мы провели без сна, в тревоге; не было слышно ни разговоров, ни движения.

По каземату двигалась высокая, странная фигура. Это без шума ходил С. П. Частник, религиозно произнося несколько тихих слов: «О, великий учитель народа, ты умер за веру, а мы умираем за правду. Они твоим именем продолжают распинать народ»...

Кошмарно проведенная в каземате ночь перед приговором еще сильнее расшатала наши нервы.

Целую ночь подсудимые бредили, как в лихорадке; многие тяжело стонали, точно их душили каким-то тяжелым орудием пыток; некоторые что-то шептали побледневшими губами, а некоторые верили в сверх'естественное чудо, что «их не казнят»... И эта несбыточная надежда укрепляла дух, и им становилось легче. Счастливы умеющие себя ободрять!..

Мы были бесконечно рады, когда длинную бессонную ночь сменило утро; бледно-синеватый утренний свет вторгался в решетки нашего каземата и прогонял черную ночь с ее длинными часами, тянувшимися, как вечность.

Наконец, прозвонил гонг, и мы тревожно поднялись со своих жестких, деревянных постелей; к поданному завтраку не прикоснулись— кроме нескольких глотков чая. Мы готовились слушать приговор.

Нас предупредили, чтобы мы собрались с вещами, у кого они имеются, так как мы больше в казематы не вернемся.

На наш вопрос: «Куда же нас поведут?» нам ответили, что «не знают»...

Сегодня нас принимает новый конвой, во главе которого—три артиллерийских офицера, совершенно нам неизвестных. Как ни старались мы узнать, куда нас поведут, нам неизменно отвечали одно и то же: «Вас ведут в зал суда для слушания приговора».

— А после приговора куда же вы нас, палачи, отправите?..— крикнул подсудимый Туркевич.

Ответа не последовало. Была подана лишь команда: «Караул, патрон в винтовку! Казаки, шашки наголо, шагом марш!».

Мы пошли. Мне казалось, что наши лица с мертвецки-бледным оттенком были неподвижны; глаза были безжизненны, руки повисли, как плети.

Если бы около нас были самые дорогие нам люди, едва ли и они в состоянии были бы поднять наше духовное состояние. Мы были невозмутимы и холодны, не замечая тяжелого горя матерей, стоящих на дороге и оплакивающих последние часы своих гибнущих сыновей.

В зале суда было все готово. «Красный лейтенант» ласково улыбнулся нам.

Около него была защита, державшая в руках газеты. «Красный лейтенант» обратился к нам и произнес:

— Всюду протесты против нашего приговора. Вас, дорогие, не казнят.

С. А. Балавинский прочел нам выдержку из газеты «Рус. Вед.». Появилось обращение к правительству за подписями С. Муромцева, Н. Щепкина, князя Павла Долгорукого, Ф. Головина, М. Герценштейна, Г. Иоллоса и др. Авторы статьи против смертной казни взывали к русскому народу, предлагая поддержать их настоящее обращение к правительству.

Аналогичная просьба к «власть имущим» вылилась из-под пера священника Валентина Ильинского: «Удержите руку, поднявшую меч, ибо все, поднявшие меч, от меча и погибнут,—так сказал Христос».

Звонок предупредил нас, что суд идет. Мы стали на свои места и стоя слушали наш смертный приговор.

Приговор читался долго; казалось, ему не будет конца. Многие подсудимые не слушали формальностей жестокого приговора, а вот— и его конец:

«Военно-морской суд определил: лейтенанта в отставке Петра Петровича Шмидта, 39-ти лет, лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через повешение».

Присутствующие в зале суда вздрогнули, кроме самого «Красного лейтенанта».

«Сергея Петровича Частника—смертной казни через расстреляние. А. Гладкова—смертной казни через расстрел. Н. Антоненко—смертной казни через расстрел... [1]».

---

[1] Приговор военно-морского суда в г. Очакове 18 февраля 1906 г. по делу «очаковцев» был следующий: Отст. лейт. Шмидта подвергнуть смертной казни через повешение; Сергея Частника, Никиту Антоненко и Александра Гладкова—смертной казни через расстреляние; Ялинича и Уланского—каторге без срока; Куприкова, Карнаухова, Соловьина и Осадчего—на 20 лет каторжн. работ; Баранова—на 12; Пятина, Моишеева и Симакова—на 10; Ро-

Я больше ничего не слышал, кроме: к смертной... смертной... казни... казни... через повешение... через повешение... через расстреляние... расстреляние...

У меня кружилась голова, а какой-то страшный, надтреснутый, дребезжащий голос продолжал твердо выговаривать имена приговоренных к смертной казни. Их насчитывалось двенадцать человек.

Мысли мои путались,—мне казалось, что я схожу с ума. В моем больном воображении вставала ужасная картина смерти при повешении или расстреле.

В то же время в мозг вселилась другая мысль: какая-то невидимая сила, какой-то добрый гений шептал мне: «Тебя не казнят... ты будешь жив»... Потом снова больное воображение, как кровожадное чудовище, дразнило меня, и какой-то сатанинский голос хохотал надо мной и говорил мне: «Ты—грешник, ты будешь в моем царстве ада»... Но тут добрый гений опять шептал мне: «Ты—мученик, тебя убили, ты будешь в раю»...

Я слышу, как надо мной машут крылья, подхватывают меня и поднимают в облачное пространство, и мне кажется, что эти чудовищные крылья уносят меня все выше и выше, и я мысленно прощаюсь с земной жизнью, радостью, красотой, молодостью, величием и свободой. Все кончено для меня на земле. Чудовищная сила переносит меня в другой, неведомый мир... Там меня ждет другая, неведомая мне жизнь, чарует меня какими-то сказочно-райскими красотами, и мне становится легче, и я уже больше не слышу страдания людей; и вместе с ними кончились и мои страдания.

Долго ли продолжался со мной глубокий обморок, я не помню. Только помню, что какая-то горячая, дрожащая рука крепко сжала мои холодные руки и шептала: «Ты не будешь казнен... Ты будешь жив»...

Чей был этот успокаивающий, нежный голос,—я мог только догадываться: это был он—«Красный лейтенант». Это был голос воплощенной добродетели человечества.

Обморочное состояние мое повторилось; я опять перенесся в какой-то сумасшедший бред, и мне опять показалось, что я падаю со страшной быстротой в какую-то пропасть и останавливаюсь в каких-то подземных казематах, где мне было душно, сыро и мучительно-больно; ноги и руки были сжаты какими-то цепями.

Что происходило во время моего обморочного состояния, я не помню. У меня была адская головная боль, и я поседел: виски сделались серебряными.

Потом я узнал, что была послана телеграмма на имя Чухнина о смягчении приговора, и просьба частично была удовлетворена: мно-

---

дионова и Жигулина—на 8; Сабельфелодти и Вайшнова—на 7; Фоминова и Туркевича—на 4 года. 9 человек в исправит. арестантское отд. гражданского ведомства. Остальные оправданы. *Ред.*

гим из нас смертная казнь была заменена 20-летней каторгой... Кроме Шмидта, Частника, Гладкова и Антоненко...

К нам подходили защитники и смертники и поздравляли нас с полученной нами по приговору каторгой.

Помню, защитники фотографировали нас группами и отдельно, и Частник сказал:

— Ну, а теперь снимите меня в последний раз.

И Частник в последний раз был снят перед казнью. Остальные не пожелали. Помню, Гладков, указывая в пространство, сказал:

— Снимайте счастливых каторжан, их жизнь впереди, а меня снимут там...

Как хотелось бы посмотреть на себя во время обморочного состояния! Мне кажется, что во всей моей жизни насчитывается только несколько дней, когда я понимал ценность жизни и красоту ее. Это были дни, когда меня сняли с «Очакова» на «Ростислав», извлекли из груды трупов, окрасивших меня кровью, в виду чего я думал, что с меня сняли кожу, и у меня начались нервные припадки,—и день, когда я был приговорен к смертной казни. Еще несколько таких дней насчитывается у меня—во время побега с Амурской каторги по реке Амуру.

Перейду к смертникам, которые ждали смерти 18 дней со дня приговора.

XVIII

Всех нас отправили обратно в пловучую тюрьму «Прут» в той же железной барже, в которой нас свозили на берег судить, с той лишь разницей, что смертников—Шмидта, Частника, Гладкова и Антоненко—отделили от нас, каторжан.

По дороге на пловучую тюрьму добродушные жители захолустного города Очакова снабдили нас подарками, а, главное, всевозможными газетами, в которых мы прочли протесты мыслящей России против смертной казни Шмидта и его товарищей.

Студенты Петербургской духовной академии на частном собрании постановили, как сообщала «Русь», послать телеграмму на имя прокурора военно-морского суда следующего содержания:

«Вся христианская этика и мировая мораль основаны на одном великом принципе: «Любовь к ближнему». Приговор военно-морского суда над лейтенантом Шмидтом и его товарищами является новым позорным клеймом на страну, исповедующую Христа и его учение. Совершение казни над Шмидтом и его товарищами будет равносильно нравственной и моральной смерти правосудия. Мы, студенты духовной академии, именем Христа призываем правосудие к сознанию своего долга и говорим ему: «Страна за Шмидта; и имеет ли оно право пренебрегать голосом страны?».

Кто не помнит статьи проф. Максима Ковалевского в газете «Страна» против обвинения, пред'явленного Шмидту? Сколько те-

плых слов находили мы в статье под историческим названием «Березань», помещенной в газете «Речь»!

«Наша Жизнь» писала:

«Они считают ниже своего достоинства сообразоваться с русским общественным мнением: раздавить общественное мнение, раздавить само общество, как политическую величину, это—прямая их задача. Кто нам поручится, что поднятая в печати общественная агитация и протесты всей мыслящей России против смертной казни Шмидта не повиснут лишней гирей на той тяжести, которая оборвет жизнь борцов-мучеников?».

Много еще было протестов, которые мы прочли в газетах за 5 месяцев и которые давали крошечную надежду на замену смертной казни каторгой «Красному лейтенанту» и его товарищам.

Кроме протестов, ходили (конечно, голословные) слухи, что очаковский гарнизон солдат хочет освободить приговоренных «очаковцев» революционным путем. Открытое возмущение жителей говорило о возможности освобождения, и это послужило поводом к переводу нас с берега опять на море, в пловучую тюрьму.

Как суд, так и свидетели, вернее, лжесвидетели, в тот же день поторопились оставить город Очаков и переехали на пловучую тюрьму, которая находилась под полными парами и под прикрытием морской крепости.

Если бы команда тюрьмы вздумала освободить приговоренных, то им грозила бы морская крепость, и выхода в море не было.

И наоборот, если бы морская крепость захотела освободить приговоренных, то пловучая тюрьма под полными парами ушла бы в море.

Видимо, виновники смертного приговора предусмотрели все до мелочей, спасая свою шкуру.

«Красного лейтенанта» привезли с берега на катере или миноносце—точно не помню—под усиленным конвоем офицеров, боясь, что он своей речью сможет поднять караульных солдат.

Нам до последнего часа казни не было известно, в какой каюте пловучей тюрьмы сидит лейтенант Шмидт.

Мы были разделены на три партии. «Красный лейтенант» сидел один под караулом офицеров. Частник, Гладков и Антоненко сидели недалеко от нашего трюма, в какой-то железной клетке, а нам, получившим каторгу, отвели новое помещение в тюрьме, вблизи трех приговоренных, так что переговариваться мы могли, но видеть друг друга не могли.

С «Красным лейтенантом» не только нельзя было разговаривать, но к нему с трудом проникал и воздух.

В беседе с «Красным лейтенантом» караульные офицеры были очарованы, просто загипнотизированы убеждениями Шмидта, и они со слезами на глазах уходили с поста, отказываясь караулить.

«Благородный, кристально-чистый облик Шмидта ярко горел, как лучезарная звезда, среди революционного движения России в 1905 году»,—говорил прапорщик Гришин, карауливший «Красного лейтенанта» и поделившийся со мной воспоминаниями, будучи уже генералом империалистической войны.

Но скоро уже кончаются страдания мученика за социализм, страдания за угнетенное и оскорбленное человечество, и мы прочтем:

„Народ узнал, что Шмидт убит,
Что стал бессмертным смертный Шмидт;
Завтра все—приговор и развязка—
Все пройдет, как пленительный сон,
И прервется волшебная сказка,
И умрет с Красным именем он!
Все мы жить остаемся в тиши.
Спи спокойно, людская защита,
И не станет прекрасной души,
И не будет у родины Шмидта“...

Приговор военно-морского суда о повешении «Красного лейтенанта» и о расстреле 3 его товарищей был утвержден Чухниным 4 марта 1906 года.

Ходатайство на имя Николая II давно было подано нашими защитниками и сестрой Шмидта—А. П. Избаш.

На всеподданнейшей просьбе Николай положил резолюцию: «Оставить приговор в силе».

Эта резолюция была передана министру внутренних дел—С. Витте, который «удостоил чести» принять у себя защитника А. С. Зарудного и А. П. Избаш, показал им бумагу с резолюцией Николая, закрыв рукой то место, где было сказано: «Оставить приговор в силе». На просьбу их дать прочесть дальше—всесильный Витте ответил: «Законом и повелением государя мне запрещено»... [1].

Как тяжело и мучительно тянулось время от 7 февраля 1906 г. (начало суда) и по день казни—6 марта 1906 года! Какой бесконечностью кажутся эти 28 дней! Только приговоренный может понять эту муку.

Поданная защитой Чухнину жалоба на неправильности, допущенные судом, была оставлена без последствий. Повешение он заменил расстрелом только в виду отсутствия специалиста-палача.

Распоряжение о казни Чухнин, не доверяя телеграфу, отправил канонерской лодкой «Терец», одним из преданных Чухнину судов, принимавшим активное участие во всей трагедии, начиная с расстрела «Очакова» и кончая расстрелом на острове Березань.

С 5 на 6 марта лодка «Терец» принесла из Севастополя в Очаков приговор Чухнина.

---

[1] Со слов А. С. Зарудного в гор. Ялте, при прочтении рукописи. *Ред.*

На пловучей тюрьме к этому готовились. На острове Березани был приготовлен эшафот.

Около 3-х часов ночи на пловучую тюрьму приехал священник или монах.

По некоторым сведениям, это был священник, пользовавшийся не особенно хорошей репутацией у прихожан; как говорили очаковские рыбаки, «этот поп любил как следует надраться (напиться) и плясун, каких наши шаландаи не видели». По другим рассказам, это был монах из какого-то скита. Думается, что первые сведения были вернее.

Он приехал напутствовать и приготовить души приговоренных на тот свет; с предложением приобщиться и с притворной набожностью он шептал какую-то молитву о спасении христианской души...

Перед нашей решеткой прошел священник высокого роста с черной бородой. На его заспанном лице виднелась непреодолимая лень, беспечность, и вообще он был похож на нашего корабельного духовника. Черная его борода, усыпанная нюхательным порошком (табаком), была безобразно всклокочена. Утренний морской воздух, казалось, освежил немного его голову, разгоряченную винными парами, которые на военных кораблях имеются в достаточном количестве.

Войдя в клетку приговоренных, священник произнес лицемерно-кротким голосом:

— Братья! Покайтесь в грехах своих.—И, поднимая крест, висевший на груди, и держа его над уровнем своего лица, чтобы не было заметно его пьяного выражения, он продолжал:—Да спасет вас бог! Вы теперь еще можете раскаяться. Кайтесь, братья, искренно во всем, и вы спасете души ваши; я буду молиться богу за вас, чтобы он сжалился над вами и простил ваши грешные души... Я вижу, что вами овладел злой дух, и он вас натолкнул на тяжелый грех. Помолитесь же, братья, чтобы господь-бог не допустил до полной гибели ваши души.—И священник крестился, ударяя себя в грудь, с видом глубокого сокрушения:—Через три часа вас уже не будет, и земная жизнь вам не нужна, приготовьте себя к небесной. О, несчастные рабы греха! Да услышит бог вашу молитву и просветлит ваши души и сердца...

К «защитнику учения Христа» подошел религиозный Частник.

— Отец духовный,—сказал он,—как много ты сказал прекрасных слов об учении Христа; ты поднял крест, на котором был распят великий учитель веры и любви к ближнему, и этот крест ты держишь над головами, по твоему мнению, грешников. Мы примем причастие и исповедуемся только тогда, когда ты, защитник учения Христа, покажешь нам в евангелии то место, где Христос сказал, что можно убивать.

Духовный отец не нашел ответа.

— Ты молчишь,—нервно крикнул Частник,—уходи, лжеучитель! После такой ночи, какую ты провел сегодня, ты пришел проповедывать и принимать нашу исповедь. Или забыл ты, что из нечистых уст исходит все нечистое?.. Ты поднял крест над приговоренными к смерти. Ты разве не слышал, что мы воистину клялись кровью Христа? Мы клялись его именем и исповедуемся ему одному. Ты же, отец духовный, притворный и лживый, пойди и вразуми убийц! Скажи: «Не исполняйте того, что говорят вам фарисеи, восседающие в судилищах»...

Священник не обращал внимания на доводы евангелия, приводимые Частником, и продолжал:

— Братья, кайтесь...

— Замолчи!—повелительным тоном остановил его Частник.— Помни, что здесь суть порождения ехидны, вы же, фарисеи, распяли Христа и вы казните его учеников. Кровь их падет на вас! Уходи, лжетолкователь учения Христа!

В голосе приговоренного было слышно негодование, гнев и презрение.

Духовник вышел из клетки приговоренных, сопровождаемый руганью Гладкова. Антоненко молчал.

Изгнание духовника закончилось нашим «трюмом каторжан», откуда неслась самая отчаянная ругань по адресу судей и духовника.

— Вали его «по едалам», окаянного богохульника, притворщика, пакостника, пса смердящего,—подзадаривал «философ».

— Мы теперь каторжные сыны и должны быть строгими каторжанами... Не уступай всяким духовным пакостникам...

— Выворачивай, брат, теперь каторжную шубу на всякого стоящего у нас на дороге.

— Пусть знают, что из честных сынов родины они создали преступников, заклеймив их именем «каторжан»!

Наша ругань, как и нужно было ожидать, требовала непременного «успокоения», ибо она неслась громким рокотом по всей пловучей тюрьме; мне казалось, что тюрьма стонала от ругани и неистового крика.

Последовало «успокоение»: караульные солдаты дали выстрел по нашему трюму, и ругань была прервана.

На пловучей тюрьме караульные опять были подобраны из различных национальностей, плохо разбирающих русскую речь. Грозный командир был уверен, что агитация каторжан не может подействовать на жестокосердных инородцев-солдат, равносильно как и наша семипалубная ругань на духовного отца. Физиономия последнего явно говорила: «Меня не смутишь, я сам не хуже вас умею ругаться, и, если бы состоялся конкурс ругани между каторжанином и духовным, то, наверное, духовник получил бы первую премию»...

Так закончилась исповедь приговоренных к смертной казни «очаковцев».

Нам уже было известно, что они были изолированы друг от друга, но перед самой казнью их, всех четырех, перевели в одну клетку, находившуюся против угольного люка,—видимо, также по предусмотрительности знаменитых палачей.

Клетка, или решетчатая кладовая, раньше, очевидно, была складочным местом голяков и швабр, т.-е. там складывался ненужный судовой хлам; теперь это помещение служило жилищем для приговоренных к смертной казни.

Клетка была очень небольшая, 4 кв. аршина, с низким потолком и решетчатым полом. Частник и Антоненко ходили в согнутом положении.

Постелей тоже не было: они лежали и сидели на решетчатом полу, и решетки впивались в измученные тела приговоренных и приносили им мучительную боль, но они не требовали ни улучшения пищи, ни жилого помещения—тихо без звука сидели они 16 дней до казни.

За день до казни приговоренным разрешили написать письма, предупредив, что они не должны касаться политики.

Помню, что «Красный лейтенант» написал сыну Евгению Петровичу завещание; в чем оно заключалось, нам не было известно. Я узнал об этом от человека, близко стоявшего к этой трагедии, и дал ему честное слово не называть его фамилии[1]. «Красным лейтенантом» были написаны еще письма на имя каторжан, которых он называл «шмидтовцами», но мы этих писем не получили.

Частник написал письма отцу и брату, которые ими были получены.

Я просил передать мне письма или узнать их содержание; но они были брошены после прочтения, благодаря невежеству крестьянина.

Гладков и Антоненко ничего не писали.

Несмотря на настойчивые просьбы приговоренных, проститься с родными им не разрешили. Палачи не нашли нужным удовлетворить последнего их желания.

Смертникам давали перед казнью удовлетворительную пищу, но это зависело не от палачей, а от команды пловучей тюрьмы, которая старалась дать им лучшую пищу. Смертники, однако, к пищи не подходили.

Страдание приговоренных было невообразимо, но не было произнесено ни одной жалобы; лишь их страдальческие лица говорили о том, что они переживают, и из их груди вырывался тяжелый стон, похожий на стон умирающего.

Глаза их были тусклы, безжизненны и, казалось, готовы были сомкнуться для вечного сна. Ужасно было видеть этих людей, замученных почти до смерти, а еще недавно полных силы и здоровья.

---

[1] Последнее письмо П. П. Шмидта к сыну полностью напечатано в воспоминаниях А. П. Избаш. Изд. морского ведомства, 1923. *Ред.*

Какое жестокое сердце надо было иметь, чтобы равнодушно смотреть на этих мучеников! Между тем, присутствующих в этом стальном гробу командиров, священника и караульных, видимо, не трогала пытка мучеников.

Приговоренные медленно передвигали свои исхудалые, как палки, ноги; в полусогнутом виде ходили по клетке и ждали казни. Они бессознательно смотрели на надвигавшиеся рокочущие волны с белыми гребнями, предвещавшие грозную бурю, какая только может быть на Черном море в марте месяце.

На баке пробили 4 склянки. Через 2 часа—казнь...

Мне казалось, что приговоренные предпочли бы вечно остаться в своей железной клетке, чем итти на эшафот острова Березань, где их ждут саваны и черные столбы, давно приготовленные по приказу Чухнина.

Да, остров Березань ждет великих жертв, которые не изгладятся из моей памяти, пока я жив, пока мои глаза не сомкнутся. Не забыть того, что мне пришлось пережить и перечувствовать за тот короткий промежуток времени!..

Невольно мысль переносится в мои юные годы, когда судьба забросила меня случайно в г. Очаков. Я часто бывал на острове Березань и восхищался его печальными гладкими берегами, где мне часто приходилось валяться с той детской беспечностью, какая бывает только у детей. Да, остров Березань был единственным утешением моего детства; я часто просил моих родителей взять меня на остров с моей крошечной шаландой, которую я называл «Валентином» в память моего товарища детства, умершего 11-ти лет.

Остров был точно создан для просушки рыбачьих снастей и детского веселья. Я помню, как я ходил по его гладким, песчаным берегам, босыми ногами ощущая легкое щекотанье прибоя морских волн, или бросался в волны, которые меня выкатывали на пушистый берег, где меня также ласкало и обогревало солнышко, и я причаливал своего крошечного «Валентина» к спокойным берегам, ложился около «Валентина» и воображал, что я—путешественник на необитаемом острове и великий мореплаватель.

Сколько радости, утешений и надежд роилось в моем юном воображении, когда я прислушивался к сказке легкой зыби, которая меня очаровывала своим морским лепетом, заливая волнами гладкие берега на большое расстояние. Я бежал к своему «Валентину» и думал, что он превратился в гигантский корабль... Но мой «Валентин» оставался все тем же крошечным и ничтожным в сравнении с моими юношескими мечтами...

Мои юные мечты не покидали меня, моя надежда на блестящее будущее крепла, и я возвращался домой, думая, что я счастливейший человек в мире...

Если бы в то время мне сказали, что твои, Березань, гладкие, нежные, песчано-пушистые берега засыпят глаза близким, дорогим

мне людям, и что на этих ласковых песках будет построен позорный эшафот!..

Ты служишь черным, позорным помостом для казни лучших сынов родины. Ты поглощаешь жертвы, как чудовищное кровожадное существо... Ты неумолим перед воплями страны... перед стоном и жертвами предсмертной агонии мучеников.

Будь же ты проклят со всеми своими красотами, которые я видел в детстве!..

Рассказ об ужасной трагедии на острове Березань приводится мною со слов очевидца Ивана Сазонова.

Иван Сазонов, бывший квартирмейстер, принимавший активное участие в вооруженном восстании крейсера «Очаков», был арестован и до суда сидел с нами вместе в пловучей тюрьме «Прут», а на суде был оправдан в числе нескольких матросов и перешел на борт канонерской лодки «Терец», команда которого расстреливала приговоренных. Он был очевидцем казни, о которой подробно передал мне.

Мы, оставшиеся в живых соучастники, знали Ивана Сазонова по команде крейсера «Очаков», как хорошего, честного матроса, а затем в течение 5-месячного пребывания в трюме мы достаточно проверили друг друга.

Я глубоко верю рассказу Сазонова о подробностях казни и передаче смысла слов, произнесенных «Красным лейтенантом» перед смертью.

В 1905 году, а также и в последующих годах, мой долголетний упорный труд не дал мне возможности собрать исторические документы, на которых можно было бы построить полные и точные воспоминания. Если где-либо окажутся документы [1], имеющие прямое отношение к нашему рассказу и моим воспоминаниям, я, «шмидтовец», заранее приношу глубокую благодарность тем, кто предаст их гласности. Я знаю, что многие матросы и офицеры были подневольными палачами того времени и скрывают ценные для истории материалы, боясь быть осужденными законом и общественным мнением.

Шесть часов утра 6 марта 1906 года.

К железным решеткам приговоренных подошла рота солдат; в первое мгновенье приговоренные как бы испуганно отшатнулись, но потом ободрились. Гладков крикнул:

— Скорее казните, палачи... Довольно пытки!—и протянул руки для связывания.

Загремели и заскрипели железные петли решеток и угольных люков, опустился железный трап, по которому должны спустить на «Терец» приговоренных.

Приговоренные кричали нам:

---

[1] Документы нашлись у сестры П. П. Шмидта, Анны Петровны Избаш, и у защитников по делу «очаковцев». *Ред.*

— Прощайте, товарищи!.. Прощайте, братья! Мы идем умирать!!

Трудно передать ужас, который мы испытывали. Нам не дали даже проститься в последний раз с нашими товарищами-мучениками...

Мы отвечали на прощанье истерическими криками, плачем, нечеловеческими рыданиями:

— Прощайте! Простите!.. Прощайте навеки!..—кричали мы и протягивали руки к иллюминаторам, точно пытаясь вырвать жертвы из рук палачей и обнять «Красного лейтенанта» и его товарищей.

У борта пловучей тюрьмы «Прут» стояла канонерская лодка «Терец», ожидавшая своих жертв.

Через угольный люк, со скрученными назад руками и одетыми на шею петлями, с большой осторожностью спускали приговоренных на борт «Терца», точно боялись, что жертвы царственных хищников бросятся за борт, и не удастся до конца терзать их...

Приговоренных привязали нашейными веревками к «нехтам» и окружили стрелками из молодых матросов.

Ослепительный электрический свет бросил свои лучи на бледные лица мучеников и освещал малейшие подробности их движений и выражения их глаз, блестевших геройскими искрами.

Казалось, что приговоренные не думали о казни, даже как-то ласково смотрели на окружающую их роту молодых матросов, которым не было известно, что они должны будут расстреливать своих обожаемых товарищей.

На очаковской морской батарее также была заметна тревога; пловучая тюрьма стояла под ее прикрытием и освещала своим прожектором на далекое пространство Черное море, остров Березань и просыпающийся г. Очаков, откуда доносились голоса обывателей:

— Везут, везут казнить... Везут расстреливать...

Прожектор долго останавливал свою полосу света то на просыпающемся городе, то на рыбаках, готовивших свои шаланды для улова, то переносил свет на береговые батареи, нащупывая, не заметно ли какой-либо тревоги среди солдат берегового гарнизона... Точно боялся, что там есть люди, которые отнимут жертвы. Затем опять полоса света упала на нашу тюрьму, «Терец» и на приговоренных, окруженных тесным кольцом стрелков.

Убедившись в отсутствии опасности и в том, что все уже готово для казни, канонерская лодка «Терец» отошла от борта пловучей тюрьмы.

Прожектор потушил свой яркий свет, а мы, уцелевшие каким-то чудом, продолжали посылать наше искреннее последнее «прости» нашим славным героям русского красного флота...

Приговоренных высадили на острове Березань с восходом солнца. И когда оно всходило, бросая свои яркие лучи в голубое пространство, приговоренным казалось, что там, недалеко от них, занимается зарево пожара, который охватил своим пламенем весь земной шар...

Захиревшие, чахлые растения на безводной соленой почве тянулись к солнцу своими худосочными, тоненькими стебельками, точно просили у солнца влаги и жизни.

Испуганные чайки кружились над головами приговоренных и издавали жалобный писк, точно и они протестовали своим птичьим миром против казни. Они испугались вторжения такого множества людей в их царство, где они свободно жили и множились, выкапывая мелкие гнезда в мягком песке и выводя птенцов из маленьких рябеньких яичек, оберегая их от хищного человечества и хищных коршунов; они старались спасать своих птенцов от зверства человека, то поднимаясь кверху, то падая вниз, словно подстреленные, беспомощно ударяя крыльями о песок и отвлекая взор человека от своих маленьких птенцов, которые быстро прятались в кустики солонца.

Тут же поднялось несколько коршунов, точно чуяли они запах крови и думали, что им представится возможность вонзить свои когти и клевать острыми клювами сердца жертв, принесенные им в дар человеческой злобой.

Но пернатые хищники вскоре убедились, что царские палачи гораздо кровожаднее и сильнее их,—пернатым хищникам предоставлялась возможность удовлетвориться только запахом крови.

На острове было все готово.

Четыре серых столба, прочно вкопанных в серый и мокрый песок, были симметрично расположены на расстоянии 3 аршин друг от друга, с прикрепленными к ним веревками и одетыми на них белыми саванами, шевелившимися от дуновения утреннего ветерка.

По сторонам позорных столбов стояли по два серых, наскоро сколоченных гроба с приподнятыми крышками.

По ту сторону столбов зияла яма с возвышавшимся вокруг нее большим курганом из мокрого песка какого-то неопределенного черно-серого цвета.

По правую и левую сторону столбов стояли тупоумные барабанщики с подвешенными на плечах, туго натянутыми барабанами.

В двенадцати шагах стояли две роты: первая—из молодых матросов в 34 человека, одетых в первосрочную одежду, точно их готовили на торжественный парад. Вторая рота, состоявшая из инородцев, стояла позади первой.

Они казались жестокими, бессердечными, бездушными, не отдающими себе отчета в том, зачем они стоят здесь.

Перед позорными столбами и стрелками стояли нарядно одетые исполнители казни: контр-адмирал в парадном мундире и наполеоновской шляпе; лейтенант Михаил Ставраки, командующий ротой стрелков; доктор для констатирования смерти казненных; священник для напутствования грешников, смиренно державший крест[1];

[1] Фамилия священника—Бартенев; он рассказал подробно о смерти П. П. Шмидта сестре его—А. П. Избаш. *Ред.*

секретарь военно-морского суда Васильев, умерший от галлюцинаций, спустя короткое время после казни; боцман К., кажется, и ныне бодрствующий где-то за границей, отступивший с бароном Врангелем в чине прапорщика, создавший себе карьеру гигантским ростом, сокрушающими побоями, отборной руганью, гнусными доносами на команду, отправивший сотни матросов на различные сроки наказания: К. командовал барабанщиками [1].

Священник после первой неудавшейся попытки вторично пытался подойти к приговоренным; Частник, Гладков и Антоненко и на этот раз отказались от причастия, а «Красный лейтенант», облокотившись рукою на плечо священника, что-то тихо говорил ему.

«Терец» стоял в стороне, близ острова, направив орудия на площадку, где совершалась казнь.

Командующий расстрелом Ставраки держал в руках белый флаг, которым подавалась команда стрелкам: «Пли!». Боцман К. подавал команду барабанам: «Дробь!»...

Приговоренные отказались одеть саваны и дать себя привязать веревками.

Частник сказал:

— Мы гордо держали красный вымпел на «Очакове» и с такой же гордостью примем нашу смерть.

Тяжело и трогательно было прощание приговоренных между собой.

«Красный лейтенант» по-очереди подходил к своим товарищам и они долго не отрывались от об'ятия «Красного лейтенанта», точно искали защиты у него на груди и утешения в его словах. Особенно долго оставался в его об'ятьях упавший духом Антоненко.

«Красный лейтенант» говорил:

— Помните, родные, за что мы умираем, за какое великое дело свободы! Товарищ Антоненко, ты видишь там восход солнца. Смотри, оно бросает на нас свои чистые, ясные лучи... это оно нам светит, нам, верным сынам нашей родины. А вон там... посмотрите... занимается зарево пожара... Это пожар мировой революции... Это мы с тобой зажгли. Мы, верные сыны, преданные русскому красному флоту. Ты помнишь, мы клялись на крейсере «Очаков» красным знаменем — не спускать его и мы исполнили нашу клятву. Мы — факелы революции, освещающие тернистую дорогу. Мы — стон бесправного народа. Мы — выразители протеста больной, измученной души униженного и оскорбленного человечества... Помни, мой брат, мы с тобой отдали только по одной капле крови. Эти капли мы должны дать, этого требует наша ро-

---

[1] При казни присутствовал еще военно-морской прокурор К., инициал, не раскрытый в воспоминаниях А. П. Избаш, так как Ронжин, обвинявший «шмидтовцев» на суде, спрятался. Кроме того, присутствовал председатель военно-морского суда Александров. *Ред.*

дина. Мужайся, Антоненко! Наши капли крови не останутся на этом холодном песке пустынного острова. Мы своими каплями крови окрасили берега морей и украсили дорогу к свободе, к правде и мирному, честному труду всего человечества!

Ободряющие слова «Красного лейтенанта» нежно лились в душу грустного Антоненко, который смотрел на него как-то по-детски, умоляюще, и, скрестив руки на груди, стал у столба, ожидая смерти.

Гладков крикнул:

— Вяжите и казните,—мы готовы...

Было видно, как многие из стрелков, державшие винтовки наизготовку, опустили их и вытирали рукавами навернувшиеся слезы.

— Дробь!—раздалась команда, и барабаны заглушили отдельные слова «Красного лейтенанта», относившиеся к приговоренным.

Его дернули за веревку к столбу. Началась формальная процедура.

Васильев читал смертный приговор перед казнью каким-то глухим, подавленным голосом; его почти никто не слушал,—все присутствовавшие здесь на острове устремили свой взор на приговоренных,—и у каждого навеки осталось неизгладимое впечатление...

«Красный лейтенант», сняв мундир, сложил его и бережно положил около столба, оставшись в сорочке с обнаженной грудью. Его примеру последовали остальные, за исключением Гладкова, оставшегося в бушлате. Частник и Антоненко были в тельных рубахах.

«Красный лейтенант» стоял полуоборотом к восходящему солнцу и стрелкам.

О чем они думали, эти славные, бесстрашные герои? Об этом знает лишь одинокий пустынный остров Березань...

Думы продолжались недолго. «Красный лейтенант» выпрямился красивой морской выправкой, свойственной только смелым и бесстрашным морякам во время грозной бури среди океанов, среди грозной, рокочущей стихии... Из груди «Красного лейтенанта» вырвались громкие слова—последние слова, слышанные от него Крымским полуостровом 6 марта 1906 г.

Эти последние слова перед позорным столбом у могилы заглушил барабанный бой; но эхо пустынного острова вторило этим словам, и они неслись по берегам Черного моря, катились по всей стране, по глухой Сибири, не останавливаясь, и вышли далеко за пределы России, докатились до Европы...

Их слышала вся Европа, весь материк земного шара.

Спросите кого-либо из моряков того времени любого из государств, знает ли он имя лейтенанта Шмидта,—и он вам ответит:

— Да, мы, моряки, знаем лейтенанта Шмидта. Это гордость не только русского флота, но и флота всех морей, и мы также помним последние слова его на острове Березань:

«Царь, посмотри, страна об'ята заревом пожара революции. Взляни на свой бесправный народ; он идет к тебе с протянутыми

руками просить только крупицы человеческого права и свободного мышления. Царь, если ты не видишь, то я тебе клянусь, что я вижу из своего гроба, как занимается пожар революции. Да, ты не слышишь народного призыва, ты отвернулся и выслал вперед своих душителей—Столыпиных и Чухниных. Царь, ты думаешь, что зажженный костер революции на Крымском полуострове угаснет под снарядами стальных броненосцев—«Екатерин», «Ростиславов» и «Георгиев Победоносцев». Ты думаешь, что с восходом этого солнца Шмидт умрет от твоей царственной руки... Нет, с новым восходом солнца придет второй, грозный Шмидт. Он занесет свой меч не только над твоей царственной короной, но и над всеми господствующими поработителями всего мира. Первый Шмидт хотел провозгласить первую в России федеративную республику на Крымском полуострове,—второй Шмидт провозгласит всемирную социалистическую республику! Помни, царь, что наши капли крови не только окрасят наши груди, но украсят жизнь твоего бесправного народа. Украсят венцы тех жертв, которые гибли на эшафотах долгими столетиями».

Как ни старались барабаны заглушить последние слова «Красного лейтенанта», эхо пустынного острова вторило ему и доносило к чутким морякам клятву и последнее завещание:

«Помните, моряки, нашу клятву на крейсере «Очаков»! Мы гордо держали наше красное знамя и обещали поднимать его выше, выше... Примите же и последнее мое вам завещание. Завещаю вам, славные герои и соратники русского красного флота, пламя революции. Пусть оно горит великим факелом всемирной социалистической революции... А я гордо принимаю смерть мою; оставляю позади себя народные страдания, а впереди я буду видеть молодую, великую, обновленную, счастливую Россию».

Белый флаг спустился, и раздался первый залп. Просвистали 24 пули, впиваясь в сердца героев.

Прервали завещание «Красного лейтенанта», пронзили широкие, красивые, богатырские груди... Подняли легкую пыль по ту сторону позорных столбов.

При первом залпе упали Частник и Гладков. Частник упал на колени, как бы приготовился на молитву, опустив голову на грудь. Гладков был поражен в сердце и убит. «Красный лейтенант» был смертельно ранен. Он беспомощно свесил голову на бок, опираясь на позорный столб и свесив руки.

Снова опустился белый флаг, грянул второй залп в каком-то беспорядочном хаосе: видимо, руки стрелков дрожали.

«Красный лейтенант» лежал у столба, конвульсивно сжимая грудь, точно он хотел вырвать вонзившуюся в сердце пулю.

Антоненко стоял у столба со скрещенными на груди руками, обратив взор на стрелков, точно он хотел им сказать: «Скорее—третий залп, я давно готов и вынесу его без страха».

Опустился в третий раз белый флаг, но стрелки держали винтовки на руке, а некоторые опустили к ноге и смотрели молча на свою кровавую работу, точно в знак протеста. Раздалась второй раз команда стрелкам, стоявшим в затылок матросам:

— Вторая рота, готовьсь по первой!

Бессердечные, жестокие солдаты из национальных взяли винтовки наизготовку. И стрелки вынуждены были взять винтовку на прицел и ждать новой команды белым флагом.

Раздался третий залп, но уже совершенно редкий; мишенью служил только один Антоненко.

Стрелки стояли с опущенными головами, точно чувствовали себя виноватыми в кошмарной трагедии.

После третьего залпа Антоненко все еще стоял, опираясь на столб и лениво стряхивая рукою струи крови на груди, точно отряхивая пыль,—как-будто он окончил тяжелую, непосильную работу и собрался уходить на отдых.

Антоненко не отходил от столба и не поднимал головы... Казалось, что он совершенно не замечал, что творится вокруг него, и что-то говорил бессвязными словами, из которых можно было разобрать только два слова: «сыны... сыны»... [1].

Я уже говорил, что палачи не разрешили приговоренным проститься с родными, и Антоненко до последней минуты своей жизни просил о разрешении проститься хотя бы с маленькими сыновьями, которых он любил больше своей жизни. Но этой просьбе хищные люди не вняли; даже на эшафоте Антоненко не забывал о своих сыновьях.

Выстрелом в упор Ставраки довел до конца свою постыдную, позорную работу [2].

Красавец «Самсон» был убит. Между тем, согласно военно-морским правилам о казни, если после трех залпов приговоренный остался жив, то ему оказывают помощь и прощают преступление (насколько это верно—я не берусь утверждать).

Доктору не пришлось констатировать смерть,—казненные герои лежали остывшими трупами.

Застывшим трупам по-очереди расстреливали черепа.

Все они умерли героями, встретив смерть твердо, стойко, без слез, без протеста.

---

[1] А. П. Избаш несколько иначе передает, тоже со слов очевидца, о смерти своего брата и его трех товарищей. После первого залпа Шмидт и Частник пали замертво. После следующего залпа был убит Гладков; Антоненко был еще жив, и потому уже уходивших матросов вернули обратно к месту казни и приказали им дострелять его, а он трогал рукою свою кровь и говорил: «Вот кровь моя льется». *Ред.*

[2] По приговору Верховного Суда РСФСР в марте 1923 г. Михаил Ставраки расстрелян в Севастополе. *Ред.*

Трупы героев бросили в гроб и осторожно опустили в могилу; как-будто боясь, что они могут проснуться от своего вечного сна, торопились засыпать сырую, песчаную могилу.

Вместо креста караулить «великого учителя Петра» поставили часовых солдат морской крепости. Фарисеи были предусмотрительны: они боялись, что его ученики отнимут у них остывший труп великого мученика за свободу... Поставили воинов, а рыбакам было запрещено просушивать свои сети вблизи казненных героев.

Мне говорили потом рыбаки, что они свято чтили то место, где пали «очаковцы».

Жители города Очакова рассказывали мне также, что суеверные часовые, солдаты, караулившие могилу героев, переживали кошмарные видения. Им казалось, что тени героев выходили из могилы и призывали народ к правде, к свободе, к любви к ближнему,—и многие часовые отказывались караулить могилу.

— Что же было дальше?—спрашивал я Ивана Михайловича Сазонова.

Но он молчал и тихо-тихо плакал. Перед нашими глазами стояли тени героев, и мы обнялись, поцеловали друг друга, и мой старый друг закончил свой грустный рассказ.

После ужасной трагедии, сидя в тюрьме, мы дали клятву отомстить за кровь великих мучеников-революционеров.

Нам казалось, что преступно оставаться живыми... Мы как-то виновато смотрели друг на друга, и нам было стыдно, что нам заменили смертную казнь каторжными работами, то-есть систематическим умерщвлением.

Прошло несколько дней со дня казни. Мы продолжали носить траур и несколько дней отказывались от пищи. Случайно нам в трюм была брошена с палубы газета, конечно, запоздавшая, и мы прочли следующее:

«Известие о казни лейтенанта Шмидта и его товарищей произвело на страну тяжелое впечатление. Повсюду, где только собиралась толпа людей, речь шла о казни Шмидта и его товарищей. На многих фабриках и заводах рабочий люд проявил большое участие к судьбе казненных: они прекратили работу; в школах жизнь пошла далеко не спокойно. Во многих учебных заведениях учащейся молодежью прекращены занятия и покинуты школы. В Одессе все учебные занятия прекращены, ученики убрали трауром гербы на фуражках. Бросили работу все портовые служащие. Моряки торгового флота покинули свои суда и не пошли в плавание. К дому, где жил «Красный лейтенант», началось паломничество. Всюду стояли военные патрули, усиленные наряды полиции, но это не останавливало толпу, желавшую взглянуть на дом, где жил революционер-мученик за права угнетенного народа».

А вот сообщение из Пскова:

«По получении известий о казни «Красного лейтенанта» и его товарищей, наша гимназия, реальное ущилище и среднее сельскохозяйственное училище устроили траурное шествие, а шестьсот политических заключенных, содержавшихся в исправительном арестанском отделении, отказались 8 марта от пищи. В этот же день заключенные выкинули 10 траурных флагов с пением: «Вы жертвою пали...».

В журнале «Весть» имелась следующая любопытная заметка:

«8 и 9 марта министр внутренних дел Столыпин получил по телеграфу донесение из многих городов, что повсюду служат панихиды, устраивают забастовки и демонстрации».

Видимо, начальству это было неприятно. Киевский генерал-губернатор Сухомлинов распорядился, чтобы в газетах ничего не писали о лейтенанте Шмидте, а министр внутренних дел Столыпин по телеграфу отдал приказание: «Принять самые решительные меры к недопущению совершения панихид по Шмидту и привлекать к суду нарушивших это распоряжение [1]».

Появилось, таким образом, новое уголовное преступление—панихида по лейтенанту Шмидту.

Вся передовая пресса продолжала протестовать против кошмарной трагедии, совершенной севастопольским палачом Чухниным, против зверского политического убийства.

«Русская женщина» писала:

«Кровь этих невинных жертв падет не на стрелявших матросов, подневольных убийц, а на тех, кто мог остановить это беззаконие и оставить жизнь верным сынам родины».

Сестра Шмидта, Анна Петровна Избаш, попросила Чухнина отдать ей тело покойного брата и предсмертное письмо его. В ответ она получила от вице-адмирала Чухнина следующую телеграмму:

«Законом мне не предоставлено права разрешить; если бы я взял на себя это право, то из-за возможности демонстрации не мог бы дать разрешения. Чухнин».

«Красный лейтенант» оставил много посмертных писем, среди которых некоторые были на наше имя, т.-е. на имя каторжан-«шмидтовцев». Письма были переданы командиру пловучей тюрьмы «Прут». Мы просили выдать их нам или прочесть содержание. Нам ответили:

«Содержание писем вашего учителя вы получите на том свете лично от него. Ведь, вы кандидаты в загробную жизнь. Если вас случайно обошла морская пуля, то вас ждет гражданская петля [2]».

---

[1] Автор ошибается: министром внутренних дел был в это время Дурново. Только с 28 апреля вместо Витте пред. сов. мин. назначен был Горемыкин, вместо Дурново—Столыпин. *Ред.*

[2] Предсмертные письма П. П. Шмидта были отправлены военно-морским прокурором Крамаревским в Петербург министру внутренних дел Дурново, где и исчезли (Воспоминания сестры). *Ред.*

На такой гнусный поступок мы ответили дерзостью, и один из «шмидтовцев» поклялся отправить жестокого морского тюремщика на тот свет за письмами. Кажется, «шмидтовец» сдержал свою клятву.

Нам, каторжанам-«шмидтовцам», об'явили, что нас везут обратно в Севастополь.

Мы были бесконечно рады, что нас увозят от арены кровавой утехи Чухнина.

Мы оставляем пустынный остров Березань, который не забудется моряками...

Теперь для нас маяк он вечный,
И тот, над кем довлеет гнет,
В его сиянье путь конечный
К свободе истинной найдет.

Имя твое, дорогой, незабвенный «Красный лейтенант», не умрет в сердцах моряков и всего народа.

Тобой же, вице-адмирал Чухнин, главный палач Черноморского флота и портов Черного моря, вполне заслужено последнее завещание.

Виновник скорби и терзаний,
Виновник бед и неудач,
Ты—зло, ты—божье наказанье,
Проклятие тебе, палач!
Лишь смерть уймет мои страданья,—
Пока я жив, мне ни единый врач
Не заживит мою зияющую рану.
И повторять я не перестану:—
Проклятие тебе, палач!
Я был незлобив... Мирными словами
Нередко распри я кончал с врагами,
Но ты из'язвил мне душу жгучим ядом,
Ты желчно отравил мне кровь и низости твоей
зловещим смрадом
Ты задушил мне веру и любовь.
Ты отнял у меня безбожно
Все то, чем в жизни трудно и тревожно
Я мог привлечь себе друзей—
Приветом, ласковостью моих речей.
И вместо слов любви и радости беспечной
Теперь я знаю только стон и плач
И все твержу одно и то же вечно:—
Проклятие тебе, палач!
Так пусть же эти страшные слова,
Как фурии, грозят тебе бедою;
Пускай стоустная молва
Упрочится навеки за тобою.
Пускай у того сгниет язык,
Пусть тот глухим навеки станет,
Кто, услыхав зловещий крик,
Проклятие тебе не крикнет вместе,

Кто без проклятья о тебе вспомянет.
Проклятье палачу, проклятье и бесчестье!
Пускай твой сын и дочь
Несут печать моих проклятий,
Пусть не приветом—словом: «прочь!»
Встречают их среди собратий.
Пусть они, жизнь отверженцев влача,
Они иссохнут от сознанья,
Что им другого нет названья,
Как только: «дети палача».
Тобой униженный и оскорбленный,
Борьбой страданья сокрушенный,
Умру я скоро, может быть;
Но прежде, чем порвется жизни нить,
Мой вздох последний испуская,
Я ненависть свою в наследство завещаю,—
Скажу:—Проклятие тебе, палач!!
И мой последний, мой предсмертный шопот,
Моих мучений стон, моих проклятий ропот—
Пускай, огнем раскаянья палим,
И создадут тебе при жизни муки ада;
Когда ж придет и твой последний день,
Когда твоей душе нечистой будет надо
Расстаться с телом мерзостным твоим,—
Пускай, огнем раскаянья палим,
Ты не прощения услышишь слово
И не друзей надгробный плач—
Нет, громче прежнего раздастся снова
Мое проклятие тебе, палач!
Но и в могиле ты, хоть труп уже смердящий,
Покоя не найдешь, и сорных трав над ней ты говор шевелящий
Услышишь и поймешь: «Проклятие тебе, палач!»
И там, в гробу, засыпанном землею,
Твой прах нечистый превратится в червей,
В червей могильных ползающий рой.
И будут эти черви копошиться вокруг твоих костей.
С ужасным шорохом, неслыханным, живым,
Как реквием, тот шорох—хор червей—
Раздастся над останками твоими,
И точка каждая на черепе твоем,
На каждой косточке, на всех остатках гнили
Услышит хор червей в могиле:
«Мы палачу проклятие поем»....
Пускай не даром раздается
Мой тяжкий стон, мой тяжкий плач,
Пускай проклятьем вечно назовется
Мое проклятие тебе, палач!

Александровская центрально-
каторжная тюрьма.
1907 год.

Цена 1 р. 40 к.



ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ:
Москва, Лубянский пассаж, пом. 32, тел. 3-64-73. Контора Издательства Всесоюзного Общества Политкаторжан.

СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Москва, Петровка, 7. Книжный склад „Маяк" Всесоюзного Общества Политкаторжан.

